

А. И.
ЭРТЕЛЬ

Сочинения



Александр Иванович Эртель

Липяги

«В Липягах лес, давший название усадьбе, еще уцелел и радушно принял меня под свою ароматную тень. Правда, он был не велик, но почтенный объем деревьев говорил о его долговечности. Веселые птицы порхали и пели в его веселых душистых листьях, и ласковый ветер шаловливо трепетал в них. Было в нем и тихо и таинственно. Просека, на которой, переплетаясь, сводом висели ветви, вела к усадьбе. А усадьба, по обыкновению, сидела на пригорке и смотрелась в реку...»

Александр Иванович Эртель
Липяги

Однажды в мае велел я заложить Орлика в Дрожки и отправился в Липяги. Я еще ни разу не был в Липягах. Владельцы этого имения познакомились со мною недавно. Впрочем, и самое знакомство это до того оригинально, что я расскажу о нем читателю.

Был март месяц, и начиналась ростопель. Лог, около хутора моего, тронулся и образовал опаснейшие зажоры. И вот в одну из этих-то зажор, в один тусклый и сумрачный полдень, застрял тяжелый и неуклюжий барский возок. Ко мне на хутор прибежал кучер, по пояс мокрый, и «Христом-богом» просил помощи. Вместе с этим просил он и захватить с собою какого-либо «средствия», ибо барыня, находившаяся в возке, по его словам, «сомле-ла». Взял я «средствие», захватил с собою ребят и лошадей и отправился к логу. Истерический и, по правде сказать, чрезвычайно визгливый женский голос еще издалика призывал на помощь. Кучер заявил, что барыня очнулась, потому кричит она... Я принял к сведению.

Спустившись в лог, мы увидели такую картину. Лошади сидели по шею в снегу, насы-

ценном водою, и от времени до времени прядали ушами и недовольно фыркали. Возок глубоко врезался в зажору и точно заклеился... В окне возка, пытаясь вылезть, застряла толстая барыня и теперь, что есть силы упираясь руками в рамки окна, кричала благим матом. Толстое лицо ее, сильно покрасневшее от натуги, являло вид неизъяснимого испуга и было смешно до крайности... Ее с самого начала высвободили и, рыдающую и дрожащую всеми членами, увезли на хутор. Но в возке еще оказалось существо. Это был низенький и худенький мужчинка в огромной медвежьей шубе и в картузе с желтым уланским околышем. Кучер объяснил мне, что это барин. Впрочем, и сам барин не замедлил отрекомендоваться мне, лишь только ступил на твердую почву. Звали его Марк Николаевич Обозинский. По своем освобождении из возка он неоднократно горячо и порывисто жал мне руки, но говорить почти ничего не говорил и только иногда, разводя руками, в какой-то рассеянности произносил: «Вот!..» Впрочем, он совершенно не был испуган, но вообще казался странным. То долго и недви-

жимо стоял он на одном месте, упорно устремляя взгляд свой в пространство, то ни с того ни с сего начинал суетиться, топотал ножками, горячился, плевался и изъяснял неудержимое стремление к действию... Имел он, разумеется, чин штабс-ротмистра в отставке, и ему принадлежали Липяги.

Когда, высвободивши, наконец, из зажоры возок и лошадей, мы с Марком Николаевичем приехали на хутор, барыня уже успела несколько прийти в себя и сидела за чаем, который, с грехом пополам, наливала ей кухарка моя Анна. Она объявила мне, что зовут ее Инной Юрьевной, что она урожденная княжна Чембулатова, и затем, что она до гроба, до гроба не забудет моей услуги... Тут воспоминание о зажоре снова разволновало ее, и с нею снова сделался легкий истерический припадок. Марк Николаевич в присутствии супруги держал себя неуверенно и робко жался около стенки. Но ему, бедному, все-таки пришлось испытать бурю. Оправившись от припадка, Инна Юрьевна стремительно напустилась на него. Она разразилась градом упреков. По ее словам, он был злой, неблаго-

дарный человек, — человек, который в грош не ставит ни ее спокойствия; ни здоровья... Он был бы рад, — патетически восклицала она, всплескивая руками, — был бы рад довести ее до гроба, чтобы с еще большею наглостью, с еще большею бессовестностью тунеядствовать, убегать от дела и разорять дочь... О, она знает его идеалы!.. Она знает — ему бы строить да строить церкви, лежать бы да молиться, да беседовать с попами... О, зачем она, княжна Чембулатова, не пошла за шибая, за кулака, она была бы счастлива, она была бы несомненно счастливей, чем за этою хилою отраслью древнего рода... Но пусть он знает, что назло ему она будет жить, будет жить для дочери, для милой своей Любы, и на всю его злобу к ней, на всю ненависть ответит только презрением... Да, презрением! — И с Инной Юрьевной снова сделался легкий истерический припадок.

Марк Николаевич был в полном смущении. Он то растерянно семеня маленькими своими ножками и разводил руками, то жалобно восклицал, обращаясь к жене: «Ах, ма-тушка!..» и затем произносил недоумевающее

свое «вот!..», уже неизвестно к кому обраща-
ясь. Эта нерешительность, эти смешные и
робкие манеры отставного штабс-ротмистра,
кажется, еще более раздражали madame Обо-
зинскую. Она была готова отравить несчаст-
ного своими взглядами и, вероятно, только
мое присутствие сдерживало ее от еще более
откровенных излияний... Я понял это и уда-
лился. Но поняли, должно быть, и меня, ибо
тотчас по уходе моем барыня утихла и попро-
сила к себе Анну. Через час меня позвали, и я
не узнал Инну Юрьевну. Хотя следы недавне-
го раздражения все еще были заметны на ее
чрезмерно полном лице, но уж тени непри-
личной экспансивности она не позволяла се-
бе. А между тем Марк Николаевич был тут, и
манеры его, несмотря на усилия, все по-преж-
нему были робки и нерешительны. Правда,
обращалась с ним Инна Юрьевна с холодно-
стью и иногда даже бросала на него пренебре-
жительные взгляды, но и только. Она вошла
в свою колею вполне приличной дамы. При-
ветливая, но вместе с тем и сдержанная улыб-
ка не сходила с ее полных, густо румяных губ.
Манеры поражали мягкостью. Французские

слова уснащали речь.

Предо мною она рассыпалась в тысяче обворожительных фраз. Она никогда не забудет, чем обязана мне. Я ее осчастливорю, если приеду к ним в Липяги. Марк Николаевич тоже будет очень рад, (Марк Николаевич раскрыл рот и хотел изъяснить что-то, но только и успел, что растерянно улыбнуться.) Для них не будет более дорогого гостя. И она удивляется, как не знакомы они до сих пор со мною.

— Вы, конечно, знаете наше имение?

— О да, я знаю Липяги.

— Вы знаете, как летом там хорошо... Река, сад, дом — надеюсь, не без удобств... И мы вас просим, убедительно просим вас посетить наше убежище... Не правда ли, вы приедете?... Марк Николаевич тоже вас просит... (Марк Николаевич кланялся и, смущенный, шептал что-то. Он уже снова успел забиться в уголок.) У нас бывают, — продолжала Инна Юрьевна. — Мы имеем порядочное общество... (Французские слова я перевожу.) Мы познакомим вас. У меня дочь, Люба, Любовь Марковна, дитя еще, но она читает... Она уже не стеснит, не может стеснить развитого человека...

Вы, надеюсь, останетесь довольны нашим домом... — И затем опять перешла к дочери: — О, я большая либералка!.. Я понимаю весь вред этих институтов там... Люба моя счастлива: я взяла ее из третьего класса и сама (на этом слове она сделала легкое ударение), сама составила ее воспитание... Вы понимаете, как это трудно у нас в России!.. Мне приходилось самой учиться, самой повторять старое, давно позабытое, и притом, ах мой бог, как учили нас в наше темное, безрассветное (она снова сделала ударение) время!.. «Мы все учились понемногу...» знаете?.. Конечно, я читала, я путешествовала, я была в Англии — ах, милая, милая Англия! — и я довольна!.. Вот вы увидите. Вы увидите, что это за милое, что за развитое дитя...

Инна Юрьевна немного важничала и вела разговор, несколько уж чересчур разнообразно интонацию. В мое отсутствие она успела переодеться и теперь, уютно расположившись в углу моего дивана, красиво драпировалась в складки своего дорожного платья, сшитого из той «простенькой» материи, которая так больно кусается, преображенная в чудо изящ-

ности француженкой модисткой.

Марк Николаевич все время разговора нашего что-то такое бормотал себе под нос, вероятно изображая в лице своем тоже собеседника; когда же Инна Юрьевна остановилась на мгновение, он настойчиво и неоднократно произнес, обращаясь ко мне:

— Рад, рад, рад... Прошу... тово... Просим... а?... Я от души, тово... И Люба...

Пока прошел, наконец, злополучный лог, протянулось три дня. Эти три дня Обозинские прожили на моем хуторе. Оказалось, ехали они из Воронежа, где в местном отделении одного поземельного банка «перезакладывали» Липяги. Поехали же мимо хутора моего по совету Марка Николаевича, который как-то вспомнил, что тридцать лет тому назад он, тоже в ростопель, ехал по этой глухой дороге и проминовал ее благополучно, между тем как дорога большая и в то время изобиловала зажорами... Вот почему и вылилось на несчастного столько упреков.

Хуторское житье чрезвычайно понравилось Инне Юрьевне. Новая, еще никогда ею не изведенная обстановка; глушь и тишина

кругом; скромное, неприхотливое хозяйство — все приводило ее в восторг. Как институтка времен венгерской кампании, восхищалась она, наливая кофе из посуды, доставшейся мне чуть ли еще не от деда моего, ветерана двенадцатого года, или прибирая волосы перед зеркалом, все размеры которого не превосходили ладони... Грубые, некрашенные полы; разнокалиберная мебель; отсутствие ковров и обоев на стенах; ярославское белье на столе, хлеб без корзины и ножи с деревянными ручками — все это казалось ей превеселой идиллией, сценой из «Германа и Доротеи»⁽¹⁾... Нет сомнения, пресыщенная барыня так и выглядывала изо всех этих восторгов. Что касается Марка Николаевича, то он с утра до вечера спал как сурок, а добрую половину ночи молился и читал акафист «Сладчайшему Иисусу».

Вот история моего знакомства с Обозинскими.

...Итак, я отправился в Липяги.

Ольховки да Березовки, Поддубровки да Осинówki, изобилующие в нашем краю, несомненно свидетельствуют о дремучих дубро-

вах и темных лесах, имевших место в нынешней степной стороне еще в недавние времена. И ныне вы можете встретить старожилов, которые расскажут вам, как на месте теперешних буераков в Березовке высился стройный белый лес, а в Ольховке росла «здоровенная» роща там, где теперь сочится зловонное болото и жалобно рыдают чибески. Не то Обозинские Липяги. В Липягах лес, давший название усадьбе, еще уцелел и радушно принял меня под свою ароматную тень. Правда, он был не велик, но почтенный объем деревьев говорил о его долговечности. Веселые птицы порхали и пели в его веселых душистых листьях, и ласковый ветер шаловливо трепетал в них. Было в нем и тихо и таинственно. Просека, на которой, переплетаясь, сводом висели ветви, вела к усадьбе. А усадьба, по обыкновению, сидела на пригорке и смотрелась в реку. Место было вообще хорошее и веселое. За домом и флигелями, по-видимому недавно покрашенными и недавно же принявшими особенно праздничный вид (я вспомнил о ссуде, тоже недавно взятой), зеленелся и белелся цветущий сад, широко раскинутый по склону

пригорка и по отлогому берегу реки убежавший далеко. За рекой расстилалась однообразная даль, зеленели луга и смутно чернелись деревни. В стороне от усадьбы весело и стройно воздвигалась белая церковь, окруженная свежим выгоном, а из-за церкви беспорядочно выглядывал поселок. Он едва был виден теперь за ракетами своих гумен и за липами леса. В другую сторону, и тоже далеко от усадьбы, желтелась барская рига, чернели и краснели крыши хозяйственных построек. Их было много, но уже издали они казались лишенными того праздничного вида, которым щеголяли постройки надворные. Мне даже показалось, что один, — амбар не амбар, но что-то вроде амбара, — зиял продырявленной крышей, и самая рига вопияла о починке.

Но перед домом все так и блестело исправностью. Тщательно взрыхленные клумбы, в которых теперь всходили цветы, были обложены сочным и пушистым дерном. Дорожки между клумбами усыпаны песком, и на дворе ни соринки... Густая сирень заслонила фасад от дороги и служила живой изгородью.

Весьма приличный лакей, в ливрее тоже

очень приличной, ввел меня в светлую залу и оттуда, по надлежащем докладе, проводил к барыне. Инна Юрьевна предстала предомною свежая и величественная. Комфортабельно расположившись в темном уголке будуара, на козетке, вокруг которой вились растения и цвели розы, она казалась и молодой еще и красивой. Прелестное платье (опять из «простенькой» материи) великолепно облегло ее полные формы, где нужно — ниспадая складками, и где требовалось — напрягаясь подобно парусу, вздутому ветром. Кончик щегольской туфли лукаво и не без намерения, конечно, выглядывал из-под платья. Лицо Инны Юрьевны, несмотря на свою полноту, поражало интересной бледностью. Слегка подведенные глаза обнаруживали томность.

Она полупривстала мне навстречу и, с обворожительной улыбкой подавая руку, рассыпалась в благодарности. Тут только заметил я господина весьма благообразной наружности, удобно поместившегося на низеньком кресле близ трельяжа. Инна Юрьевна познакомила нас.

— Друг и будущий муж моей дочери, Сер-

гий Львович Карамышев, — с некоторой гордостью произнесла она.

Я слышал нечто о Карамышеве и теперь с любопытством поглядел на него. От него веяло благовоспитанностью. Начиная от пробора в густых и темных волосах, начиная от безукоризненного белья и простого, но изящного костюма из великолепной китайской материи и кончая узким носком матовых ботинок и розовыми ногтями на продолговатых пальцах удивительно белых рук, все изобличало в нем чистокровнейшего джентльмена. Его бледное лицо, обрамленное небольшою, тщательно выхоленной бородкой, поражало тонкими, правильными чертами и было очень красиво. Правда, монокль в глазу и постоянная, несколько натянутая улыбка придавали этому лицу вид надменности, но вы тотчас же забывали об этом, лишь только раскрывались уста господина Карамышева. Тогда плавно и мягко, с какой-то сочной и ласковой интонацией, очаровывали ваш слух великолепно закругленные периоды, красиво составленные фразы и удачные, выразительные слова. Он говорил, как бы рисуясь своим ма-

стерством, как бы вслушиваясь в звуки своего голоса, и говорил, избегая галлицизмов, избегая французских и английских слов, а напротив, реставрируя красивые архаизмы, напирая на них... Когда же неизбежно приходилось произнести ему иностранное слово, то он произносил его не иначе как с гримасою легкого неудовольствия.

— Вот мы спорим здесь, — обратилась ко мне Инна Юрьевна, — поддержите меня, пожалуйста, мсье Батури... Сергей Львович такой недобрый: шагу не уступает мне, а между тем, ах, как я права, как неотразимо права!

— «Блажен кто верует — тепло тому на свете!»^{2} — серьезнейшим образом возразил Карамышев и, с благосклонной улыбкой обратясь ко мне, продолжал: Инне Юрьевне угодно оспаривать значение дворянства в деревне и опровергать возможность для этого класса крупной роли. Так как, по мнению Инны Юрьевны, дворянство должно служить токмо целям культуры, — и это весьма справедливо, — то оно и должно будто бы, сообразно с этим, идти туда, где служение этим целям более возможно, — так кажется Инне Юрьев-

не, — то есть в столицы и вообще в крупные центры. Там служить, образовывать изящную бюрократию, поддерживать салоны, давать направление искусству... и все так далее, в этом же роде.

— Ах, непременно, непременно, мой милый Сергей Львович, иначе — как это говорится? — наша песня споется... Что деревня? Вы не поверите, как трудно, как невозможно почти, жить здесь порядочно... И притом, кто нас окружает — кулаки, попы, целовальники!.. А между тем, средства нужны, и их неоткуда взять... Ах, вы говорите: ра-ци-о-наль-ное хозяйство... Бог мой, идите вы с Марком Николаевичем и смотрите на весь этот наш рационализм... Все, все есть! и плуги там, и веялки, и скоропашки, все, все... Ну, и что же? — ничего. Наши милые мужички все это поломали, все испортили, все поворовали... О, вы не знаете, как все это тяжело; вы большой идеалист, Сергей Львович, вы поэт... Но поживите здесь, и вы увидите... Я помню, — я тоже идеальничала... О, я думала облагородить деревню, превратить ее в то, что она есть в этой милой, милой Англии... Я думала

встретить здесь людей, чутких к цивилизации, я думала встретить здесь сословие... И что же! (Инна Юрьевна горько всплеснула руками) я нашла здесь дикарей... Все, что было пообразованней, поизящней, все, что одарено было более благородными инстинктами, — все бежало отсюда, бежало в министерства, в гвардию, за границу... Я одна, как видите, борюсь до конца... И что же? Вот уже старухой (она кокетливо оправила платье) прихожу к тому же: бежать, бежать и бежать отсюда...

Всю эту реплику Карамышев выслушал очень сдержанно и только два раза позволил себе не без тонкости улыбнуться.

— Какое же ваше мнение? — обратился я к нему.

Он немного помолчал и затем ответил с серьезностью:

— Мое мнение таково. Наше сословие весьма недальновидно поступает, устремляясь в бюрократию. Я, конечно, не сословные интересы имею в виду, предполагая так, но интересы вообще государства. Мы важны тем, что мы единственные носители культуры. Составы нашего государственного организма несо-

мненно жизненны, но согласитесь, они грубы; исключение составляем мы. И вот потому-то мы должны, наконец, получить наше значение. Служа в департаментах и министерствах, вращаясь при дворе и в гвардии, мы значение это только утрачиваем. Это, впрочем, только мое мнение. Я допускаю службу, как школу, и затем домой, господа!.. В земство, в приход, в деревню!.. Пора, наконец, схватиться за ум. Наши земли расхищены, наше влияние уничтожено, наши статуи и картины проданы с молотка, — нам пора вернуть это. Нам пора занять подобающую нам роль, — роль просветителей и вождей народа. Эта роль принадлежит нам по праву. Мы должны, наконец, образовать... джентри⁽³⁾; мы должны создать провинцию; должны создать настоящее, истинное европейское... self-government![1] Школы, больницы, приюты, суд, полиция, все это должно, наконец, принять истинно просвещенные формы и проникнуться нашим цивилизующим влиянием. Пусть не Колупаев⁽⁴⁾ с одной стороны и не нигилист с другой несут свое воздействие деревне, а люди благородной традиции, лю-

ди-преемственной и просвещенной культуры. Польза народа, с одной, и высшее развитие культурных стремлений, с другой стороны, — вот наше правило и вот, несомненно, наше знамя.

— Ах, все это мило, все это хорошо, все это очень красноречиво, но... поэзия, поэзия! — восклицала Инна Юрьевна.

— Боже мой, все спорят... Да когда же будет конец! — раздалось в дверях. Я обернулся и очутился лицом к лицу с девушкой лет шестнадцати, высокой, стройной, одетой скромно и со вкусом. Инна Юрьевна торжественно и снова с некоторой гордостью заявила мне, что это дочь ее Люба, и затем познакомила нас. Люба осторожно скользнула по мне пристальным взглядом и обратилась к жениху:

— Надеюсь, ваше красноречие иссякло, наконец, и вы пойдете со мною полоть резеду, — произнесла она своенравно.

Madame Обозинская укоризненно поглядела на нее, но та только нетерпеливо тряхнула головкой.

— Полоть не пойду, — снисходительно усмехаясь, отозвался Карамышев, но сопро-

вождать вас рад, mademoiselle.

Люба почему-то вспыхнула, сделала низкий реверанс перед женихом и стремительно вылетела из комнаты.

— Ах, как еще молода! — с кроткой улыбкой произнесла Инна Юрьевна, как бы извиняясь за дочь.

Я видел, как бледное лицо Карамышева подернулось румянцем и как оживились его темные глаза в присутствии Любы. Он принужденно попросил извинения у Инны Юрьевны и, хотя степенничая, но все-таки и поспешая заметно, вышел вслед за девушкой.

— О, молодость, молодость! — счастливо вздыхая, воскликнула madame Обозинская по уходе Карамышева, и затем поспешила посвятить меня в свои «маленькие тайны» (как выразилась).

— Вы знаете Карамышева? Знаете, богатое такое имение Большая Карамышевка? Это его. Богач, очень образованный, очень развитой молодой человек... Представьте — камер-юнкер, блестящая карьера, связи, и вот идеи эти, идеалы... Ах молодежь, молодежь!.. Но что делать — я мать (тут она снова повто-

рила, что она большая либералка), я не могла победить сердце и согласилась... Конечно, Люба еще молода, — и только благодаря домашнему воспитанию она знает еще что-нибудь... О, она много читает!.. Но пройдет год, — мы условились ждать, — и, я уверена, она сумеет поставить себя в любом салоне... О, у ней моя кровь!.. Вы замечаете — она очень неровна, но не правда ли, как это хорошо, что нет в ней этой институтской выправки, этой, этой... бездушной светскости, о которой, помните, так зло и так справедливо отзывался Лев Толстой... Я предпочитаю маленькую нервность, маленькую небрежность — это придает что-то такое пикантное... Не правда ли?.. О, я не говорю, что всегда в большом обществе, например в великосветском салоне... Но вы ведь позволите причислить себя к близким-близким знакомым нашим, не правда ли?.. — и потом быстро переходя к другой теме: — ах, мы скоро обедаем, не хотите ли пройти в свою комнату? О, ваши милые, простые комнатки, как я помню их!.. Цел ли ваш исторический кофейник?.. И ваше миниатюрное зеркало?.. Как я была счастлива, как

мы вам обязаны!.. Но простите мне, старухе (она опять кокетливо улыбнулась), я ужасно болтлива... Это признак дряхлости, говорят?.. Будьте добры, милый Николай Васильевич, позвоните... вон около вас сонетка... человек проводит вас. И приходите в столовую. Мы обедаем по «гонгу» — по-английски, как видите... Я надеюсь, вы погостите у нас... Как, только сегодня!.. О нет, мы не отпустим вас... Вы еще не видали Липяги... Марк Николаевич будет очень рад... Он тоже большой хозяин... Хотя, конечно, душу-то хозяйства составляют другие... (Она скромно и сострадательно улыбнулась.) Он добрый, он милый, но вы не поверите, какой отсталый, какой рутинер... Вот вы увидите, он вам покажет там...

К столу появился и Марк Николаевич. В белом костюме из пике, в свежем белье и светлом галстуке он выглядел естественнейшим ком-иль-фо. Мне он чрезвычайно обрадовался.

— А я хлопочу, хлопочу все... а?.. — зачастил он, неизвестно для какой надобности отводя меня в уголок, — утром в поле, днем в поле, в поле, в поле... а?.. сев, тово... Просо, то-

во... и гречиха... Хлопочу все... — и все неотступно жал мне руку и заглядывал в глаза.

Кроме лиц, уже известных читателю, к обеду явился Исаия Назарыч, бывший помещик трех душ, а теперь бедняк страшнейший и в душе ужасный собачник. Впрочем, держал он себя с примерной скромностью и, очевидно, стыдился и неуклюжего сюртучка своего из какой-то сквернейшей материи лимонного цвета, и своего смятого белья, и огромных волосатых рук, непристойно вылезавших из более чем коротких рукавов. Он явно церемонился и почти ничего не ел. Кусочек котлетки (старательно очищенной от шпината) и ложки три супу, вот все, что решился он скушать, хотя я уверен — голод его разбирал сильный. Вероятно, он считал неприличным наедаться. Инна Юрьевна не замечала его. Господин Карамышев обращался к нему с преувеличенной любезностью. Марк Николаевич, кроме своей тарелки, кажется ничего не видел и ни о чем не думал. Ел он так, что у него за ушами пищало... Люба как будто сучала и явно чем-то была недовольна. Держала она себя с какой-то холодной педантично-

стью и до жестокости прилично. Глаза ее были тусклы и безжизненны... Но к концу обеда это настроение внезапно преобразилось. Игривая усмешка засветилась на ее губках. В глазах, теперь уже глубоких и темных, загадочным лучом промелькнуло какое-то свое нравное ухарство... Лукаво сдвинув свои тонкие брови, она набрала целый ворох пирожного Исаие Назарычу и прелюбезно вступила с ним в разговор. Она спросила его, решился ли он, наконец, сделать предложение купчихе Свинчуткиной и узнал ли, отчего у ней такая неприличная фамилия, и осведомился ли, так же ли она будет обтягивать живот, как обтягивает теперь... («Фи!..» — протянула Инна Юрьевна, а Карамышев сделал легкую гримасу.) Она спросила, здоровы ли его собаки, как поживает Звонок, как поживает Задорка? Зажила ли нога у Стрекозы и есть ли щенята у Жигуньи?

Исаия Назарыч, при обращении к нему Любы, неожиданно побагровел и вспотел, но вместе с тем и повергся в неизъяснимое блаженство. С горячностью заявил он о благополучии собак своих, о числе щенят у Жигуньи,

о достоинстве кобеля, отца этих щенят, о преуспевании его дивного голоса (Исаия Назарыч питал преимущественную страсть к гончим). О купчихе Свинчуткиной заявил он, что еще не решился и что вообще намерен терпеть до конца... Насчет живота заявил негодование, а насчет фамилии — думает, что от свиньи. Говорил он спешно, захлебываясь и волнуясь, и имел нехорошую привычку уснащать речь свою словом «понимаете» и такими эпитетами, как «гнида», «вша» и т. п. Выходило и забавно и неприлично немножко. Инна Юрьевна морщилась, от времени до времени устремляя на дочь беспокойные взгляды. На губах Карамышева играла снисходительная улыбка. Благовоспитанные лакеи, торчавшие за нашими стульями, скромно потупляли свои взоры...

После обеда мы перешли на балкон. Оттуда вид был прекрасный. Внизу расстилался газон, окаймленный жимолостью и сиренью, далее расходились аллеи акаций и берез, за ними благоухали куртины цветущих яблонь и высокие дубы толпились сумрачно, а там дремали ивы, синелась река и далеко убегала

низкая, однообразная равнина.

Было поздно, и солнце склонялось к западу.

Люба вышла из столовой снова расстроенная. Мы еще не успели пообедать, как она, нечаянно скользнув по нас взглядом, нахмурилась и круто оборвала разговор свой с Исаием Назарычем. Сергию Львовичу, подошедшему к ней, она отпустила какую-то резкую французскую фразу, и он, передернув плечами, как только умеют у нас передергивать штаб-офицеры да разве еще камер-юнкеры, в недоумении отошел от нее. А она, схватив под руку блаженствующего Исаию, увела его в сад и серьезно и тепло с ним заговорила. До нас долетело несколько слов из этого разговора. Люба осведомлялась, где теперь дочь Исаия Назарыча и чем она живет, и сколько детей у нее, и есть ли возможность дать этим «несчастливым» детям воспитание. Оказалось, что дочь Исаии Назарыча брошена мужем, оставленным ремонтником, и бедствует где-то, изображая экономку, что дети находятся в полуразрушенной усадьбе деда, где только и имеется, что три смычка гончих, и затем ни

хлеба, ни денег. Исаия Назарыч изъяснил это Любе немного застенчиво, немного плаксиво, но, несомненно, был растроган ее участием, ибо нос его покраснел и глаза слезились.

Вскоре Люба оставила его (он потрусил к Марку Николаевичу «по хозяйству») и присоединилась к нам. Инна Юрьевна, сжавшись, точно кошечка, нежилась в глубоком кресле и болтала, — болтала неумоимо. Речь ее преимущественно касалась дикости здешних нравов, отсутствия эстетического воспитания в местном обществе, неразвитости и т. д. Отсюда она перешла к Англии (Англию она частенько-таки тревожила), — к высокообразованному английскому дворянству, к типу «приличного человека», выработанного английской культурой, к английской нравственности, скромности и т. д. Когда она была в Англии, мать ее, княгиня Чембулатова, гостила с ней в одном почтенном семействе около Брайтона. Она провела там рождественские праздники... Ах, как там было весело и как прилично! И как молодой сквайр Эди ухаживал за ней!.. И какой порядок, какое довольство везде!.. Чистенькие коттеджи, благо-

воспитанные фермеры, развитые пасторы, крупный и красивый скот... И плющ, плющ, плющ!.. — и затем перенеслась в Италию. О, она так давно, так давно не была там! Она спрашивала Карамышева, сохранила ли теперь эта милая страна свою милую, милую оригинальность — своих *lazzaroni*[2], своих оборванных монахов, своих дерзких и назойливых, но, боже, — каких живописных, уличных мальчишек... «Ах, к этой прелестной Италии и рубище и ханжество идут как нельзя более! — восклицала Инна Юрьевна. — Я не могу себе представить горячего итальянского пейзажа без какой-нибудь поразительно яркой процессии, без кармелита⁽⁵⁾ в деревянных сандалиях, без важного и недоступного оборванца...» — И она печально вздохнула, когда Сергей Львович заявил ей, что и там цивилизация и порядок входят в свои права, а средневековая ветошь исчезает, и что даже Неаполь далеко уже не тот, чем он был при Бурбонах⁽⁶⁾, не говоря о Риме, о Флоренции и иных городах Италии северной. Произнес это господин Карамышев опять-таки важно и даже с некоторой долей педантизма. А Инна

Юрьевна, услышав слово «Неаполь», в каком-то сладостном полузабытье воскликнула: «Ах, Неаполь, Неаполь!» и затем расслабленно пролепетала:

— Помните эту прелестную Киаию, эти чудные ночи над морем, над Везувием, эти восхитительные виды... Море плещет, озаренное луною... Город спит... В фантастической дали белеет Сорренто... Силуэт Капри синее на зыбком горизонте... Везувий задумался и величественно курится... Ах, Неаполь, Неаполь!..

Карамышев, с стаканом кофе в руках и на губах с сочувственной улыбкой, внимал отрывочным воспоминаниям Инны Юрьевны, от времени до времени пополняя их собственными. О, он помнит Италию. Там только усвоил он себе порядочный взгляд на жизнь. Только ее антики и картины, ее древности и фрески определили ему суть этой жизни и помогли проникнуть в эту суть: могущество и неизбежность преемственной культуры. Только там он вдумался в историю Медичисов^[7] и уразумел секрет междусословных отношений. Только там, говорил он, — положе-

ние низших классов, голодных и босых, но все-таки счастливых, дало ему понять, что всегда, если аристократия благосклонна к народу, народ заплатит признательностью, и что во всех революциях не столько виноваты дурные страсти, сколько высшее сословие. Он сказал «мы», и это «мы» настоятельно подчеркнул. Инна Юрьевна многозначительно сжимала губы, кивала головкой и поддакивала, изредка вставляя и свои, несколько наивные, замечания. И затем перешли к искусству. В этой области Инна Юрьевна больше ограничивалась восторженными восклицаниями, говорил же Сергей Львович. Слегка коснувшись тех галерей, которые посетил он в Италии, с особенным чувством похвалив «горячие краски» Тициана и «трагическую силу» Микель-Анджело, отдав должное ярким картинам Поля Веронеза^{8} и картинам Рафаэля, он сначала перенесся в Париж, где указал на Венеру Милосскую, как «на дивное выражение классических понятий о красоте», и затем, сочувственно скользнув по Торвальдсену^{9} и по грациозным идиллиям Ватто^{10}, по шаловливому Грёзу^{11} и «величественному» Да-

виду^{12}, перешел к Германии. Здесь упомянул он мрачного Рембрандта, которому, в виде контраста, противопоставил Рубенса. Философически заметил при этом о вечной борьбе двух начал, — жизни и смерти, радости и горя, комизма и трагедии, и в картинах Рубенса и Рембрандта указал выражение этих начал... Потом коснулся благородной простоты Вандика и затем уже рассказал о Сикстинской мадонне^{13}. В ней он видел идеал будущего — красоту уравновешенных страстей, идеал, в котором все лучшие свойства человеческой природы соединились не для борьбы, а для гармонии, для разумного наслаждения жизнью... Отсюда он перешел к Гете. Он проанализировал автобиографию «великого старика», его «Римские элегии», его «Ифигению в Тавриде», его «Германа и Доротею», и затем, резюмируя взгляды этого старика на жизнь, на призвание человека, сопоставил «Римские элегии» с известной пьеской, переведенной Лермонтовым, выразив, что в последней он так же уразумел философию смерти, как в первых — философию жизни... Тут, отчетливо скандируя, но просто и естественно, он про-

читал нам: «Горные вершины спят во тьме ночной...», допустив легкую и едва заметную теплоту в последнем стихе, отчего трогательное обращение поэта:

*Подожди немного — отдохнешь и ты...
вышло особенно выразительным.*

К этому он прибавил, что, разумеется, не осмелился бы цитировать Гете не в оригинале, если бы русская литература «не имела счастья» обладать таким роскошным переводом, как перевод Лермонтова. Упомянутое о Лермонтове подало ему повод перейти к русской литературе. Весьма высоко поставив Пушкина за «Каменного гостя» и снисходительно простив ему «Цыган» и «Полтаву», он указывал нам пьесу за пьесой из мелких стихотворений пушкинских, в которых, по его мнению, были соблюдены тенденции творца «Каменного гостя», и затем небрежно упоминал о пьесах характера противоположного. К первым он, между прочим, причислял и «Подражание Данту», причем звучно и не без приятности продекламировал 3-й отрывок этих

подражаний, с особенным ударением произнося:

*...И гладкая гора,
Звоня, растрескалась колючими
звездами...
а потом прочел нам известный
сонет:
Поэт, не дорожи любовью народ-
ной,
Восторженных похвал пройдет
минутный шум...*

как ярко выражающий, по его мнению, ту идеальную гармонию страстей, которая и в Мадонне дрезденской, и в поэзии Гете, и в монологе летописца Пимена является предтечей будущего общественного строя, а теперь воплощением лучших культурных стремлений.

Тут Инна Юрьевна заметила, что если это так, то он в одном ей кажется неправ — уравнивая, в своем идеале будущих человеческих отношений, элементы, он забыл отдать преимущество элементу «любви». Любовь, выраженная «римскими элегиями» и донной Анной, чересчур чувственна, черес-

чур односторонняя и, если можно так выразиться, слишком уж антична... Что же касается мадонны, то здесь любовь и вовсе уж какая-то... сухая, отвлеченная... На это Карамышев глубокомысленно заметил, что, изображая идеалы будущего в смысле строгого уравновешивания страстей, он только новейшим научным теоремам подчинился, по которым гармония всяческих отправлениях есть первое условие счастья. Он сам очень хорошо сознает, что идеалу этому недостает некоторой нервной прелести («пикантности!» пролепетала Инна Юрьевна) и, между прочим, обладания «романтической» любви. Но всего вероятнее, что прелесть-то эту ощущаем мы благодаря только нездоровому состоянию нашей «психики»; потомки же наши весьма даже легко примирятся с отсутствием этой «больной», ненормальной прелести... Тут Карамышев задумался и, окинув мечтательным взглядом Любу, вздохнул.

— Да, — произнес он, — разум одно, а нервы другое. Нет спора, прелестна фетовская «Диана»^{14}, — эта «чуткая и каменная дева, с продолговатыми, бесцветными очами»... Пре-

лестна эта строгая простота и ясность античного идеала и, по-моему, идеала будущего, но сладкая неопределенность, но нега и мучительная страсть, жутко захватывающая сердце, но робкое желание и легкие, как грезы, надежды в поэзии того же Фета очаровывают меня, несомненно, сильнее. Помните:

*...Сестра цветов, подруга розы,
Очами в очи мне взгляни,
Навей живительные грезы
И в сердце песню зарони...*

Тут уже нет первобытной ясности и простоты, тут ощущения утончаются и переходят в нечто почти неуловимое, но вместе с тем этою-то кажущейся неуловимостью, смотрите, как говорят они сердцу, смотрите, с какой ласковой мечтательностью затрагивают они самые сокровенные струны в нашей душе и какие нежные ноты вызывают из этих струн... Или вспомните это:

*Мы одни; из сада в стекла окон
Светит месяц...^{15}*

Что тут такое? Да ряд неопределенностей, сладко и жутко волнующих вашу душу... Ряд

мимолетных, но жгучих впечатлений, ряд изменчивых ощущений, тонких до фантастичности... И все это полно трепетной прелести, то робкой, то мятежной!.. Все это, если хотите, нездорово, как нездоров и весь Гейне, которого поэзия до замечательности верно определена вот этими стихами Аполлона Николаевича Майкова^{16}:

*...В туманах замки, песен звуки,
Благоухания цветов, и хохот, пол-
ный адской муки...^{17}*

но вместе с этим, представляя в нашем современном понятии «красоту» красоту тонких нервных ощущений, — все это составляет неотъемлемую принадлежность культуры. И не я, разумеется, отрекусь от этой «принадлежности», от этих благоухающих романтических цветов, которых, конечно, потомки наши не увидят и будут тем и счастливы и несчастливы... И он опять мечтательно поглядел на Любу.

А Люба недвижимо стояла у колонны и смотрела вдаль, вся озаренная пламенеющим закатом. Дума ли какая обняла ее молодую ду-

шу, вставляли ли пред нею неведомые нам перспективы, — не знаю. Но чутко замерла она в каком-то томительном ожидании, пронизывая пространство внимательно-сосредоточенным взглядом. Полуоткрытые губы, как будто воспаленные, как будто жаждущие какой-то живительной, освежающей струи; горделиво приподнятая головка, вокруг которой грациозно обвились темно-русые косы; бронзовая неподвижность смелого и строгого профиля, — все в ней напоминало одну — из тех античных статуй, о которых с таким благородным пафосом трактовал Сергей Львович. И разве что тихо и неровно волнующаяся грудь девушки, с едва заметными очертаниями, да ее почти детские, немного даже угловатые плечи, да тоска в ее напряженном взгляде, тоска, так не свойственная творениям «уравновешенной» Эллады, — нарушали это сходство и портили иллюзию.

Почувствовав на себе упорный взгляд Карамышева, она обернулась, вздохнула глубоко, причем крепкий румянец охватил ее щеки, и лениво подошла к нам. Кротко уселась она у ног Инны Юрьевны и понемногу всту-

пила в разговор. Она тоже любит литературу, но Гете ей не нравится, он ей кажется холодным, себялюбивым стариком;

Гейне же... О, Гейне она боготворит!.. Но зачем Сергей Львович обходит ту сторону его поэзии, где он исключительно только ратует за несчастного, за обделенного судьбою, за обиженного, вот как этот смешной, но милый Исаия Назарыч, как эти бедняки там, в своих гнилых жилищах (она указала в ту сторону, где едва виднелась деревня). Разве это «нездоровая» поэзия?.. Ведь помнит же, вероятно, Сергей Львович то место, где поэт в каком-то безотрадном отчаянии восклицает:

*Отчего под ношей крестной,
Весь в крови, влачится правый?
Отчего везде бесчестный
Встречен почестью и славой?
Кто виной? Иль силе правды
На земле не все доступно?..^{18}*

и разве это «нездоровая» поэзия?.. Эти-то горькие вопли! Эти-то стоны сердца, переполненного скорбью!

Голосок Любы, робко и наивно напряженный, плохо владел декламацией, но, несмотря

на то, впечатление от этой декламации получилось трогательное. Дело в том, что всю свою душу поклала странная девушка в эти стихи, и они в ее устах походили именно на «вопли горькие и стоны сердца, переполненного скорбью»... И опять возвратилась к участи внуков Исаии Назарыча. Мне кажется, что сцена за обедом, где самый этот Исаия Назарыч, благодаря ей, был выставлен в несколько смешном виде, не давала ей покоя. И в этом Карамышев оказал ей услугу. С деликатною мягкостью определив вышеприведенные мотивы гейневской поэзии мотивами рассудочными, и, следовательно, истинному искусству не присущими, и мимоходом заметив, что состояние «бедняков в гнилых жилищах» далеко не так тяжело, как кажется, ибо они и не подозревают о том «требовательном» аршине, которым мы измеряем счастье, он перешел к вопросу об «этих несчастных детях» и дал слово Любе, что устроит их судьбу. По его словам, у него была возможность дать им казенное воспитание, дочь же Исаии Назарыча поместить кастеляншей в одно, тоже «казенное» заведение. Надо было видеть ра-

дость Любы... Подарив жениха обворожительной улыбкой, — от чего тот, несмотря на всю свою олимпийскую сдержанность, вспыхнул как мальчик, — она, вместе с тем, вся расцвела и как бы преобразилась. Наступила новая, еще незнакомая мне, полоса в состоянии ее духа. Внезапно сделалась она ровна и любезна. Инна Юрьевна теперь могла бы гордиться ею: манеры ее приобрели ту безукоризненность и мягкость, соединенную с солидностью, о которой так жадно мечтают яростные представительницы «хорошего тона». Образ гордой и непреклонной девушки, с вечной тревогой в глазах и движениях, исчез бесследно, и пред нами болтала, — правда, сдержанно, но все-таки болтала, — очень «приличная», очень «воспитанная» великосветская девица.

Правда, сквозь всю эту сдержанность, сквозь всю эту бонтонную и любезную болтовню иногда мелькало что-то затаенное, что-то странное, — не то пытлиное, не то недоверчивое... Иногда казалось, что в душе этой девушки, с такими восхитительными аристократическими манерами и с таким ве-

ликолепным аристократическим воспитанием, неотступно возникают и мучительно запутываются в неразрешимый узел те «проклятые вопросы», о которых говорит поэт... Но это только «иногда»...

Новая полоса, набежавшая на Любу, придавала и новый характер нашей беседе. Из ней быстро испарился «философический» тон... Знаете ли, господа, что такое значит приличный «салонный» разговор? О, это премудренная вещь! Скользить по предметам, не углубляясь в их сущность; передавать факты, отнимая у них излишнюю мрачность, если они мрачны, и сглаживая серьезность, когда они претендуют на нее; осторожно и остроумно злословить; весело и наивно разносить сплетни; забавно говорить о трагедии и глубокомысленно разбирать оперетку; мельком отзывать о политике и всесторонне о бале графини Эн-Эн...

И мы упражнялись в этом до тех пор, пока синие сумерки не облегли небо и из-за горизонта огромным огненным шаром не выкатилась луна. Тогда в дверях освещенной залы черным силуэтом появилась пред нами кро-

печная, сморщенная старушка и объявила, что чай готов. К чаю явился и Марк Николаевич в сопровождении Исаии Назарыча. Оба они были истомлены и, заметно, потрудились порядком.

Я привык ложиться рано. Не удалось мне пересилить себя и теперь: глаза слипались, и голова становилась тяжелою. Я дождался конца чая и ушел в свою комнату. Окна этой комнаты выходили в сад, и из них был виден балкон, весь опутанный плющом. Свет лампы неверной и трепетной полосой проникал туда из залы, пробегая по зелени яркими пятнами.

Я не успел еще заснуть, как все общество, среди которого были и Марк Николаевич с Исаией, высыпало на балкон. И долго там звучал смех, искрились сигары и слышался непринужденный разговор. Разговор этот уже не походил на тот скучный и томительный, в котором мы упражнялись до чая. Очевидно, настроение снова изменилось. Даже Исаия Назарыч, и тот в полутьме балкона сделался как-то необыкновенно развязан и, торопливо взвизгивая, преподносил обществу анекдот за

анекдотом. Анекдоты были наивны, но к ним явно относились с благосклонностью. Инна Юрьевна снисходительно смеялась. Карамышев самоотверженно поддерживал общее оживление и, совершенно игнорируя «хороший тон», хохотал сочным, самодовольным баритоном. Даже Марк Николаевич хихикал. Но всех радостнее, всех веселее была Люба. Смех ее так и трепетал в тихом ночном воздухе, звонко оглашая окрестность и вызывая звонкое эхо. Она всему смеялась: и наивным анекдотам Исаии Назарыча, и хохоту Карамышева, и милой веселости татап, и хихиканию Марка Николаевича...

Мне почему-то стало и горько и досадно. Неприязненное чувство шевельнулось во мне к девушке, у которой, как мне казалось, семь пятниц на неделе... С этим чувством я и заснул.

Неприятное ощущение какого-то странно-го, фосфорического света пробудило меня. Я открыл глаза. Вся моя комната была залита ярким голубым сиянием. Воздух, благоухающий и прохладный, веял в открытое окно. Я вспомнил, что забыл опустить стору на этом

окне, и подошел к нему. Дивная, фантастическая ночь предстала передо мною. И сад, и река, и дали — все было озарено лунным сиянием. Группы берез, ярко белевших сквозь неподвижную листву, и густые аллеи акаций, яблони, унизанные цветами, и сумрачные узловатые дубы, смутно переплетаясь тенями и очертаниями сонных ветвей своих, вставали в этом сиянии подобно сказочным дивам. Неподвижная река, гладкая как разлитое масло, ясно отражала небо и темные купы ив, задумчиво склонившихся над нею. Даль неопределенно и таинственно мерцала, потопая в серебристом тумане. Стройная колокольня поднималась как привидение, закутанное в саван. Было тепло. Полная луна стояла высоко. Торжественно распростертый небосклон сиял звездами. Тишина была мертвая. Все как бы приникло в каком-то дремотном очаровании... А между тем чуткий воздух как будто ждал, как будто жаждал звуков. Шорох падающего листа, подточенного насекомым, нечаянный всплеск воды в реке, слабый крик перепела в далеком поле, — все это ясно доносилось до моего слуха, наполняя душу то-

мительным чувством какого-то жуткого и тревожного ожидания...

Но вот слабый гармонический звук вырвался из открытых окон залы и медленно затрепетал в благоухающем воздухе... Кто-то заиграл на рояли. Кто-то засмеялся и патетически воскликнул:

*Дитя, как цветок ты прекрасна,
Светла, и чиста, и мила... ^{19}*

Звеня, пробежали по клавишам руки, и затем то ясные, то замирающие аккорды переполнили воздух и потянулись в нем задумчивою вереницей. Я слушал тоскливо... Мелодия росла и развивалась. И чем далее росла и развивалась она, чем более ширились и трепетали печальные аккорды, тем глубже и глубже уносился я в какой-то фантастический мир, тем неотступней и неотступней заплоняли мою душу странные грезы и мучительно-приятные ощущения... Было мгновение, когда что-то невыносимо жуткое овладело мною и грудь заняла сладостно и больно... Глазами, полными невольных слез, обвел я и сад, и реку, и дали, — и чудные призраки возникли в

моем воображении: во всем своем фантастическом величии встал передо мною «лесной царь». Я видел его зеленые кудри, дико разметавшиеся по деревьям, я видел его страшные очи, сверкающие огнем, и жадно распростертые руки, я слышал его голос, полный мольбы и страсти, и звонкий хохот его русалок-дочерей... И в серебристом тумане волнующихся испарений летел предо мною, как вихрь, измученный всадник, и бледное дитя судорожно цеплялось за гриву...

Но аккорд оборвался на половине и задрожал жалобной нотой. На балконе послышались шаги...

— Доволен? — произнес голос Любы.

— О, моя дорогая!.. — восторженно ответил Карамышев.

— Пойдем же в сад, и будем ходить, ходить... Ты любишь ходить?.. Ах как я люблю говорить «ты»!.. Если бы я могла, я бы всем, всем говорила «ты»... Не давай мне руки, я не люблю ходить под руку — ведь иду с тобою рядом... Будь доволен... — и запела на мотив из «Прекрасной Елены»^[20]:

Будь доволен, будь доволен, будь доволен...

— О, как хороша ночь!.. Но противный соловей, что же молчит он, что он думает?.. Несчастный, ему, верно, скучно!.. А вам не скучно, Сергей Львович?.. Нет?.. Ах, как я рада...

Они прошли под моим окном. Она — плотно завернутая в плед, с приподнятыми как бы от озноба плечами и с руками, сложенными на груди, он в пальто и шляпе, сдвинутой на затылок.

— А мсье Батулин, вероятно, спит, — с какою-то лихорадочной поспешностью щебетала Люба, — не правда ли, какой он странный?.. И он ужасно дико на тебя смотрел!.. Это тебе не нравится?.. О, я вижу, что тебе не нравится... Ну что ж, ты бы не излагал диких мнений!.. А знаешь — я тебя ужасно, ужасно не люблю... Зачем ты так ставишь высоко своего противного Гете, своего Фета и унижаешь других... Вот видишь, я тоже не люблю Гете и Фета не люблю... А Гейне мне нравится, и Некрасов нравится, и Фрейлиграт⁽²¹⁾ нравится... О, ты хитрый, ты «уравновешенный», ты не хочешь, чтобы кто-нибудь выворотил твою изящную душу, а твое античное сердце

заставил бы страдать... Ведь правда? Скажи, скажи...

Сергий Львович замедлил шаги.

— «Я знаю, гордая, ты любишь самовластье...»^{22} — смеясь произнес он.

Люба внезапно рассердилась.

— Я не шучу, — строго сказала она, — я говорю с вами очень серьезно... Мне это нужно... Мне жить с вами, Сергей Львович... Я хочу вас знать... Я имею это право... Что вы? Кто вы?.. Вы знайте — я не хочу быть салонной дамой... Не хочу, не хочу!.. — воскликнула она сквозь слезы, и затем, все более и более волнуясь, продолжала: — Я давно вижу, что все это не так... Вы мне клетку золотую готовите... Вы презираете народ, а я читала, я знаю, я «Miserables»[3] читала, я читала газеты... Они — несчастные, — они голодные, а вы... про Фета распеваете... Вы меня не обманете — я уйду, я убегу к ним, я насмотрюсь на их голод, на их гнойное рубище... А вы оставайтесь с своим Фетом и любите другую!..

Карамышев опешил. Он, видимо, не ожидал ничего подобного. Всю дрожащую, всю потрясенную от сухих рыданий, он привлек к

себе Любу и нежно усадил ее на скамью. Она не сопротивлялась. Она беспомощно поникла своей головкой к нему на грудь, и он, с ласковой осторожностью, гладил ее волосы. Из густого куста сирени вдруг ясно и отчетливо зазвенела соловьиная песня.

— О, моя дорогая, светлая девушка, — мягко говорил Карамышев, слабо сжимая Любу в своих объятиях, — у тебя славное, горячее сердце... Но отчего же ты не хочешь быть разумной?.. Знаешь ли ты, что много наша бедная родина потеряла людей, у которых все было в сердце, да, в сердце, и ничего в разуме... Ты говоришь, кто я?.. Дитя, я просто честный человек. Я человек, несущий на себе злобу дня, но дня сегодняшнего... Ты не понимаешь меня? Нет?.. Слушай же! Нас много теперь, много блестящих гвардейцев, много подававших надежды дипломатов, много надменных чистокровных львов, понявших, наконец, тщету паркета и мишурность парадной выправки. Мы вспомнили, наконец, наши «вотчины», наших бедных крестьян, отданных в жертву Колупаевым, наше земство, пожранное администрацией... И мы воротит-

лись домой. Ты понимаешь меня?.. Домой, это значит к земле, к нашим корням, к земщине, к деревне... Мы не будем строить фаланстеры^{23}; мы не будем ратовать за общину — это допотопное, варварское учреждение. Мы обойдемся без Добролюбовых и ему подобных метафизиков... Мы насадим свою культуру, без вмешательства господ нигилистов. Ты, голубка, говоришь, что, кажется, я озлоблен против нигилистов? Порядочный человек не может быть «озлоблен», дитя; он может только глубоко и сознательно ненавидеть. Ты хочешь подробностей? Изволь, любознательная головка... Итак, мы не строим фаланстеры. Вместо того мы создаем больницы и школы, мы представляем интересы крестьян в земском собрании, мы образовываем сплоченное и просвещенное дворянство, мы поддерживаем церковь... Одним словом, как я недавно сказал твоей татап, мы создаем «провинцию». И тогда вообрази режим: крестьяне благоденствуют, снимая у нас земли по образцу английских фермеров, культура представлена в каждом околотке образованным помещиком, правосудие безвозмездно отправляется насто-

ящим, «истовым» юристом в лице того же помещика, церковь облагорожена постоянным воздействием того же помещика, полиция на уровне своего призвания, ибо и она под руководством того же помещика... Вот наши идеалы!.. Сознайся же, милая моя девушка, что не о чем тебе плакать, — он тихо и робко прикоснулся губами к ее затылку, что счастье народа гарантировано и рвать свое сердце из-за этого, право же, неразумно!..

Люба долго молчала и, наконец, полуприподнявшись, пытливо посмотрела на Карамышева.

— И суд, и полиция, и церковь — все помещику, говоришь? — спросила она.

— То есть не помещику, а под его воздействием, — возразил Сергей Львович.

— И тогда противные кулаки исчезнут — говоришь?

— Непременно исчезнут, дитя мое.

Она радостно захлопала в ладоши.

— Ах, как я рада!.. Ты знаешь, и у нас в деревне есть кулак, толстый, красный такой... И зовут его, представь себе, До-ри-ме-донт До-ри-ме-донтович... Как тебе это покажется!..

Скажи пожалуйста, у всех у них такие ужасные имена?

— Чем же ужасное — музыкальное имя, — сострил Карамышев.

— Ах, не остри, не остри, пожалуйста!.. — с какою-то болью воскликнула девушка и, помолчав немного, робко спросила:

— А эти... нигилисты?

— И нигилисты исчезнут, — ясно и просто ответил он.

— Куда же вы их?

— На Сахалин, моя голубка.

Люба слегка отклонилась от широкой груди Сергея Львовича.

— Стало быть, они ужасные люди?

— Ужасные, моя дорогая.

— И их нельзя жалеть?

— Нет, моя радость, они не стоят жалости.

Она глубоко вздохнула.

— Скажи — они не признают... Шекспира?

— То есть, видишь ли, дитя мое, у них теперь система: они не только Шекспира — все отрицают: собственность, брак, религию; но, с другой стороны, как будто и не отрицают.

— Как же это? — широко раскрывая глаза,

спросила Люба.

— О, они теперь далеко уже не так наивны! Прежде, друг мой, наглость их была так велика, что они сами во всеуслышание величали себя нигилистами, теперь не то, — теперь их именуют «интеллигенцией» (слово это Карамышев произнес не без презрительности), как будто существует какая-либо интеллигенция помимо нас...

— Ну, как же ты говоришь — на Сахалин, — в недоумении сказала Люба, значит, всю эту интеллигенцию на Сахалин?

— Значит, душа моя.

— Но ведь это масса...

— Это будет жертва, но жертва неизбежная. В Испании в одно прекрасное время выслали всех жидов.

— И нельзя никого оставить? — уже взволнованно и сквозь слезы допрашивала Люба.

— Некоторые сами останутся — те будут наши, — ответил Сергей Львович и затем, с некоторым беспокойством, добавил: — но ты напрасно волнуешься, дитя, они не стоят этого...

Люба стремительно вскочила со скамейки.

— Нет, стоят, стоят!.. — в чрезвычайном раздражении вскричала она. — Я сама знаю... С Федей Лебедкиным я росла вместе, и я его знаю, и я люблю его... А он нигилист, он сам говорил мне, что он нигилист... И Шекспира он отрицает, и искусство, и Пушкина... Он еще в гимназии со всем этим разделался и говорил, что это хлам... и он хороший, я люблю его!..

— Но, дитя мое... милая, дорогая... — успокаивал Любу Карамышев: — вот какая ты нервная, какая тревожная. Успокойся, голубка... Очень может быть, что господин Лебедкин и прекрасный молодой человек...

— Он очень, очень... прекрасный!..

— Но очень может быть, что он уже и не нигилист теперь... Где он? Кто он?

— Он теперь в академии... он медик и он очень восхищается ана... томией... он уже скоро год как не писал мне... но я его очень... очень люблю! — вся подергиваясь от сдерживаемых рыданий, отвечала Люба.

Сергий Львович снова хотел ее притянуть к себе, но она отстранилась от его объятий и, по самый подбородок завернувшись в плед,

села в уголок скамьи. Мне было видно ее сосредоточенное личико, омраченное задумчивостью. Ее глазки печально смотрели из-под заботливо сдвинутых бровей.

А соловей в каком-то исступлении звенел и рассыпался серебристыми трелями, то легкими и веселыми как мотыльки, то заунывными и страстными... Люба слушала, и лицо ее мало-помалу прояснилось. Заботливые морщинки на лбу сглаживались; губы принимали знакомое уже мне выражение: игривое и несколько насмешливое; глаза засветились... Наконец она глубоко, всю грудью, вздохнула и поднялась со скамейки. Карамышев последовал за нею. Несколько минут они шли молча.

— Ты читал «Шаг за шагом?»^{24} — неожиданно спросила Люба.

— Нет... — слегка, удивившись, ответил Карамышев.

— А я читала.

И затем в молчании прошли несколько шагов.

— И «Мещанское счастье» не читал? — снова спросила она.

— Я не читаю подобного рода книг, — с достоинством ответил Сергей Львович.

— А я читала... Я и «Трудное время»^{25} читала, — добавила она, как бы подзадоривая Карамышева.

Карамышев пожал плечами.

— И знаешь, я думаю, что ты не совсем прав, — настаивала Люба.

— Почему же ты так думаешь, моя дорогая?

— Да уж так... Думаю.

И затем снова запела, пародируя Менелая из «Прекрасной Елены»:

Все помещику, все помещику, все помещику...

и шаловливо делая па на кончиках своих ботинок.

Карамышев и смеялся и недоумевал.

Около балкона Люба внезапно остановилась и обратила лицо свое к Карамышеву.

— А знаешь — я, может быть, и не буду твоей женою! — пресерьезно произнесла она.

Он отступил в недоумении.

— Да. Очень может быть, — продолжала она, и вдруг лицо ее явило вид неизъяснимо-

го волнения, — и даже вот что, — заторопилась она, — я возвращаю вам ваше слово, мсье... (Она сделала низкий реверанс и еще более побледнела, еще более заторопилась.) Я не могу быть вашей женою... Я не разделяю ваших убеждений... Я не считаю вас «честным человеком», мсье... Au revoir![4] — и быстро исчезла в дверь залы, мрачным пятном зиявшую посреди стен, освещенных луною. Мне показалось, что она бросилась в пропасть...

Карамышев долго стоял как пораженный громом. Потом произнес какое-то проклятие (к удивлению моему, на французском языке) и быстрыми и неровными шагами заходил около дома.

— Какая дичь! какая дичь! — восклицал он, жестоко ломая руки. — Дитя, ребенок... и заразилась, заразилась... — и затем, в отчаянии схватив себя за голову, простонал: — О, как я люблю ее!

Я закрыл окно и лег спать.

Наутро Карамышев был бледен более обыкновенного. Хотя улыбка и теперь не сходила с его губ, но она казалась уже явно на-

сильственной. Говорил он мало и вообще являл вид несколько оскорбленного достоинства. Та надменность, которая иногда прорывалась в нем и при спокойном состоянии духа, теперь выражалась особенно ярко.

Люба сказалась больною и не вышла к завтраку. Когда об этом объявили, Сергей Львович слабо и неопределенно улыбнулся. После завтрака он уехал. Инна Юрьевна подозвала меня к окну посмотреть на этот отъезд. Четверик великолепнейших серых рысаков, толстейшее чудовище на козлах, шикарнейшая венская коляска — все как нельзя более гармонировало с благородным обликом господина Карамышева. Небрежно натягивая светлую перчатку, сел он, почтительно подержанный человеком в ливрее, небрежно откинулся к задку, небрежно и сквозь зубы произнес: «Пшол» и скрылся в облаках сияющей пыли. Инна Юрьевна сделала ему ручкой и, вся восхищенная, отошла от окна.

Не знаю почему, но дурного расположения духа в Карамышеве она не заметила. Впрочем, и вообще она не отличалась наблюдательностью.

После отъезда Карамышева Люба вышла. Лицо у ней было желтое и несколько сурово сосредоточенное. Глаза поражали тусклостью и были как-то неприязненно сухи. Одета она была, казалось, еще проще, чем вчера. Синее платье из какой-то плотной материи и без всякой отделки, — совсем не по сезону, как, вероятно, и заметит моя взыскательная читательница, — узенький и жесткий стоячий воротничок, прелестно, оттеняющий смуглую желтизну шейки, свободно распущенные косы, — вот и все. Но эта простота ужасно шла к ней. Она в ней казалась особенно крепкой, особенно смелой и непреклонной. На вопрос матери, чем заболела она, Люба ответила что-то неопределенное и, взяв какую-то работу, уселась около раскрытого окна. А Инна Юрьевна завела было обычную материю об искусстве, об Англии, но как-то необыкновенно быстро переменяла фронт и незаметно перешла к сплетне. Она спросила, знаю ли я, отчего madame Карицкая разошлась с своим мужем, и на отрицательный ответ подробно рассказала мне, отчего она разошлась. Затем выступили на сцену балы помещика Китай-

цева, на которых, по мнению Инны Юрьевны, бывает всякий сброд и для тостов, вместо шампанского, подают донское. Потом коснулась дела Макаровых, которые так много и так безрассудно проживают, а между тем водят детей в ситцевых платишках и стоптаных башмаках... Все это было утомительно и скучно. Я попытался завести разговор с Любой. Но она отвечала мне сухо и односложно. Я уж начал жалеть, что согласился остаться на сегодня... На мое счастье, пришел Марк Николаевич и пригласил меня пройтись по хозяйству.

Лишь только ступили мы на гумно, лишь только потянулись пред нами амбары да скотные дворы, сараи да конюшни, как повеяло на нас мерзостью запустения. Усадьба, теперь спрятанная в зелени сада, казалась иным царством. Там все блестело свежестью красок, новизною и порядком, здесь разрушалось, обваливалось и зарастало чертополохом. Гнилые плетни вместо стен, дыры вместо кровель, щели и развалины, — все это отовсюду лезло в глаза, производя самое угнетающее впечатление. Я остановился в недоуме-

нии...

— Как, как находите?.. — по своему обыкновению заспешил Марк Николаевич, подхватывая меня под руку. — Сюда вот, тово... идите сюда!.. Вы этого нигде не встретите... а? нигде не встретите... Я вот сейчас вам, тово... — И он привел меня к каменному сараю. Одна половина дверей в этом сарае сорвалась с петель и лежала на земле, другая же плохо, но все еще держалась. Мы вошли. Сумраком и затхлостью повеяло на нас. Пыльные солнечные лучи косыми столбами пробивались в круглые крошечные окна. Я огляделся. В сарае громоздился целый хаос. Плуги Овербека и плужки Рансома, американские сохи и английские экстирпаторы, немецкие бороны и шведские сеноворошилки, сеялки и веялки, зернодробилки и зерносушилки, катки и валики, — все это, покрытое толстым слоем пыли, воздвигалось своими ножками, ручками, лемехами и зубьями. Беспорядок был ужаснейший... Плужка лезла на веялку, сеноворошилка цеплялась за экстирпатор, борона стремилась к зерносушилке... Солнечные лучи прихотливыми пятнами мелькали там и

сям... Мы стояли и смотрели молча. Наконец Марк Николаевич обратил ко мне лицо свое и, как бы рекомендуя мне весь этот хлам, развел руками.

— Вот!.. — сказал он.

Затем привлек он меня к густому бурьяну. Среди бурьяна этого возвышалась каменная постройка, брошенная менее чем на половине; вороха извести, уже испорченной, конечно, лежали там и сям, — по ним пробивалась свежая травка, — размокший и почти рассыпавшийся кирпич громоздился грудками... Мы подошли к этим руинам, и Марк Николаевич снова развел руками и снова, как бы рекомендуя мне руины, произнес свое: «Вот!..»

— Что же это? — с удивлением спросил я.

— А?.. Это завод, тово... завод мыльный... Это все уж обдуманно... Да, да... вот как поступит урожай в продажу, опять строю, опять, опять... а?.. Это превыгодная вещь... У меня есть тетрадки... там все это, тово, знаете... а?

— Но, извините за нескромный вопрос: вы же недавно получили ссуду? рискнул я полюбопытствовать.

— А?.. Ссуду?.. Ссуду получили — шесть ты-

саяч... Это точно, тово... Но дом, прислуга, ремонт... долги были... а? Все теперь приведено в порядок... Все в порядке теперь... Церковь обелил... тово... обелил... А это уж у меня в тетрадках там... Три тысячи нужно... И это превыгодная вещь... а?.. Не правда ли?

Я пожал плечами и ничего не ответил. В это время нам подали шарабан, и мы отправились в поле. Я думал хотя там отдохнуть от беспорядка, назойливо преследовавшего нас с самых границ усадьбы, но, увы, — ошибся. И в поле та же распущенность, та же заброшенность встретили нас. Сорные овсы, низенькая и реденькая рожь, паршивенькая пшеница — вот что расстилалось огромными нивами в одну сторону от межи, по которой мы ехали. А между тем за межой густая рожь буйно и шумно расходилась сизыми волнами и овсы отличались замечательной чистотою...

На пару валили навоз. Мы подъехали туда. Изнуренные клячи торопливо давали нам дорогу. Мужики в грязных рубахах низко кланялись... Но пашня не была разбита на клетки, и навоз сбрасывался где ни попало. На одной десятине вы могли бы насчитать четыреста

кучек, на другой не было и сотни... Между кучками бродили чахлые, оборванные овцы. Мы увидали вдали всадника, и Марк Николаевич принялся махать ему своим картузом с желтым уланским околышем. Всадник подъехал. Это оказался молодой, безусый щеголь в венгерке и ярких голубых штанах.

— Приказчик, — кратко объявил мне Марк Николаевич.

Приказчик удовлетворил некоторым распросам барина; сказал, что и овес и пшеницу необходимо следует полоть, но что девок тоже необходимо «пригнать» для этого с Битюка, потому что «здешние» избаловались... При этом физиономия его выразила что-то вроде того оскорбленного достоинства, которое утром так поразило меня в благородном лице Карамышева. Потом объявил он нам, что в усадьбу сейчас проехал шумиловский барчук.

— Федя?.. — радостно встрепенулся Марк Николаевич и затем, объяснив мне, что это сын старой его знакомой и даже приятельницы, мелкой помещицы Татьяны Глебовны Лебедкиной, быстро направил лошадь к усадьбе.

— Хороший, хороший малый... — отрывочно сообщал он мне дорогой, доктор будет... а?.. на втором курсе теперь... на втором, на втором... Я рад, тово... рад... а?.. Я очень рад!

О хозяйстве Обозинский и сам не говорил, да и мне совестно было заводить речь. При том же и ехали мы шибко и усадьба была недалеко. Проезжая мимо церкви, Марк Николаевич приостановил лошадь, обнажил свою маленькую и круглую, как репа, голову, всю покрытую жесткой седой щетиной, и широким, размашистым крестом перекрестился. Я вспомнил упреки, когда-то обращенные к нему Инной Юрьевной...

Все общество мы застали на балконе. Инна Юрьевна небрежно полулежала в своей любимой позе и несколько кислотовато улыбалась. Люба сидела, как-то глубоко потопая в большом кресле, и без слов сияла, полураскрыв губы и не сводя радостных глаз с Лебедкина... А Лебедкин, как будто и сконфуженный, как будто и смущенный чем-то, расположился, однако же, в непринужденной позе и то хмурил сердито брови свои и складывал губы в презрительную улыбку, то весь расплы-

вался в каком-то блаженном состоянии и невольно усмеялся счастливым смехом.

Настроение вообще было несколько натянуто, и появление наше состоялось как нельзя более кстати. Инна Юрьевна оживилась и тотчас же изменила кислую свою улыбку на обычную благосклонную; Лебедин тоже оправился и, перестав уже смеяться беспричинно, а также и складывать чересчур уж презрительно губы, весь ушел в какую-то сухую, явно неприязненную сдержанность. Впрочем, ни Марк Николаевич, весь расцветший и с особенной настойчивостью расточавший свои ни к чему не идущие «а?..» «вот...» и «тово», ни Инна Юрьевна, с любезной снисходительностью старавшаяся «обласкать» молодого человека, — не замечали в нем этой неприязненной сдержанности. Только Люба, к которой Лебедин относился почему-то особенно вежливо и непременно с присовокуплением ядовитого «слово-ерса», кажется, поняла это. По крайней мере после одного из таких вежливых обращений она вся вспыхнула, на сиявших глазах ее вдруг задрожали слезы и счастливое выражение лица заменилось

грустным... А взгляд Лебедкина, скользнувший по ней в это время, изъявил какую-то мстительную радость. Впрочем, с этих пор он стал к ней заметно мягче и даже «слово-ерс» почти отбросил, с особенной настойчивостью употребляя его только в разговоре с Инной Юрьевной.

На вопросы, к нему обращенные, Лебедкин изъяснил, что заехал он в Липяги на перепутье и то только потому, что ужасно захотелось ему повидать Марка Николаевича. (Старик весь озарился широкой улыбкой, а Люба еще больше затуманилась; Инна же Юрьевна, с пренебрежением — впрочем, едва заметным, выставив нижнюю губку, произнесла: «Ах, с вашей стороны это очень мило...») Затем Лебедкин добавил, что ему «ужасно» необходимо поспешить «к своей милой, бедной, хорошей маме, — к той женщине, которая одна, только одна во всем свете его любит...» Тут голос его задрожал отчего-то, и он, вероятно разобиженный этим обстоятельством, пребольно укусил себе губы... Потом он объявил, что экзамены у них ныне кончились рано, и что он весь май пробыл на прак-

тике у знакомого доктора в селе Медведице, и что знает теперь, каковы «все эти господа аристократы...» Здесь Лебедин с ненавистью сверкнул глазами и даже зубами скрипнул.

— При чем же тут аристократы?.. — обиженно и недоумевающая спросила Инна Юрьевна.

Объяснилось, что Медведица принадлежала графу Л* и по его милости так была обделена наделом, что бедствовала страшно и невообразимо.

— Тут аристократия при том-с, — задыхаясь от негодования, восклицал Лебедин, внезапно покинувший всю свою сдержанность, — что у нее связи-с... что она пронюхала чутьем своим подлым, в чем дело, и играла наверняка-с... Еще манифест не вышел, а этот паршивец крестьян на волю отпустил и в знак благорасположения своего буераки им пожертвовал... О, благодетели... — И он не находил слов, чтоб заклеить эту ненавистную ему аристократию. Весь охваченный чувством какой-то мстительной ярости, он то приводил нам корреспонденцию и судебные процессы, то раскапывал устные предания и материалы «Русского архива»^[26], то перетря-

сал историю и мемуары, и отовсюду с величайшим злорадством восстанавливал возмутительнейшие факты. Он представлял аристократию везде, где бы ни вздумалось ей проявить себя: в политике, в семье, в религии, в науке, и каждое такое проявление клеймил грузом проклятий и ядовитейшими уподоблениями. В политике — по его мнению — она была всегда двоедушна и жадна, глупа и безжалостна, и потому только нигде не имела очень-то прочного и очень-то сильного влияния, что при страшном аппетите отличалась самой жалкой трусостью и подлостью без всяких границ. Тут он мастерски выхватил два крупных факта из русской истории — замыслы верховников при Анне Ивановне^{27} и проiski крепостников во время освобождения крестьян — и, подкрепив их добрым десятком фактов маленьких, великолепно обобщил все это... Картина вышла мрачная до трагизма.

И затем перешел к семье. Здесь он, снедаемый каким-то злобным восторгом и особенно ядовитый, особенно иронизирующий, так и напустился, как ястреб, и на Вронского из «Анны Карениной», и на самого Каренина, и

на Ирину в «Дыме» (особенно на Ирину...), и на Элен из «Войны и мира»... Беспощадно разоблачал он «всю эту показную мораль, всю эту яркую шумиху многозначительных фраз и дел красивых, всю эту мишуру импонирующей обстановки и титулов, звонких до наивности; золотом расшитых мундиров и костюмов, цена которым голод и нищета целых губерний...» Под всем этим блеском, под всем этим «одуряющим» престижем, он, как бы торжествуя, как бы захлебываясь от наслаждения, указал нам язвы и раны, гной и рубища. И он не удовольствовался Россией и современным состоянием общества. Для его ума, явно раздраженного, и для его явно же озлобленного сердца это было мало. Он бросился к Риму времен упадка, он коснулся Италии эпохи Борджиа^[28] и Медичисов, он перебрал вельможество Англии в пору войн Алой и Белой Розы^[29], он не забыл «гнусный» двор Людовика XIV^[30] и кавалеров времен революции, топтавших трехцветную кокарду — и отовсюду темною тучей нависали над нами пороки и преступления несчастной аристократии, ее неумелость, ее двуличие, ее безве-

рие наряду с ханжеством, и затем, как угрожающий призрак, воздвиглись трагические перспективы: «Общая деморализация и общая гибель роковой исход всяких аристократических влияний».

— Но уроки... — слабо вставляла Инна Юрьевна, очевидно возмущенная до глубины души пламенными нападками Лебекина на аристократию.

— Для нее не существует уроков! — кричал Лебекин. — Никогда и ничего не выносила она из них-с!.. Это будьте покойны, сударыня. (Да, он сказал «сударыня»...) При Карле Десятом⁽³¹⁾ она устроила «белый» террор... При Карле Втором⁽³²⁾ английском и дураке Якове⁽³³⁾ натворила мучеников... В Италии ограбила народ и продала его... В Польше погубила свободу... У нас, с каждым новым бунтом гольтыбы, распространяла крепостное право... — тут он перешел преимущественно к аристократии русской. — А теперь о чем все они мечтают! воскликнул он, задорно надвигаясь на Инну Юрьевну, — да об «сословии» мечтают-с... О старинном режиме думают... Да режим-то этот чают с вариациями-с!.. Ведь у

них цел ультиматум-то тысяча семьсот тридцатого года...^{34} Ведь если республиканцы французские к принципам восемьдесят девятого года вождедеют, так наши-то князья да графы год семьсот тридцатый лелеют в сердцах своих, и даже который из них азбуке плохо научен, и тот смакует «совет верховный»... Знаем мы их достаточно-с!.. Все эти господа очень даже понятны нам-с... Идеальчики-то их известны до подлинности: похерить интеллигенцию да укрепостить ее латинянам, водворить благонравие да наводнить государство назидательными книжками «О добром помещике и признательных мужичках»... Смекаем-с, сударыня!.. (Инну Юрьевну коробило). Им ведь так бы хотелось: одна сторона — нехай, дескать, лапоть первобытный, а другая — карета с гербом на дверцах, — низ и вершина, значит единение и совокупление, а все, что в середке-то, — пусть к черту на кулички отправляется... Вот то-то заблагоденствовали бы... То-то праздник бы велий во-счувствовали в сердцах своих... О, благодетели... — И опять распространился в проклятиях.

Лебедкин был привлекателен. Коренастый и смелый, с смуглым выразительным лицом и с мрачным огнем в глазах — он напоминал одну из тех восторженных фигур, которыми переполнена известная картина Густава Дорэ «La Marseillaise»[5]. Говорил он хорошо, хотя, может быть, и чересчур страстно, и во всяком случае совершенно не в том роде, в котором отличался Карамышев. Очевидно, когда говорил — Лебедкин не думал о форме речи, она выливалась у него бурной и отчасти беспорядочной импровизацией. Инне Юрьевне ни страстность эта, ни это несколько вульгарное красноречие явно не нравились. Несмотря на бездну такта, имевшегося в ее распоряжении, она частенько-таки морщилась и с плохо скрываемою досадою от времени до времени перебивала Лебедкина и даже иногда пожимала плечами.

Зато Марк Николаевич был в полном восхищении... С каким-то судорожным наслаждением сосал он сигару свою и все смотрел в глаза Лебедкину, все поддакивал ему, очевидно ровно ничего не понимая из его речей. Люба же Люба была вся внимание. То груст-

ное выражение, которое так еще недавно я заметил на ее лице, теперь уступило место иному, если и не счастливому, то во всяком случае радостному. Казалось, то, что проповедовал Лебедкин, как нельзя более совпадало с собственными ее думами, и теперь она радуется, слушая, как думы эти — смутные и почти инстинктивные, — так хорошо, так неотразимо убедительно формулируются. Она не говорила ничего; она сидела молча, но все существо ее, как бы до последнего нерва, было проникнуто и сочувствием и уважением к Лебедкину... А он... О, он по-прежнему был сдержан с ней и вежлив, и даже почти игнорировал ее, — хотя все, что говорил с таким жаром, говорил несомненно только для нее... Это прорывалось наружу до наивности ясно. И особенно желчные нападки на Ирину (в «Дыме») и струнка личного раздражения, заметно звучавшая в его страстных филиппиках⁽³⁵⁾ против «аристократии», и какая-то странная мятежность духа при взгляде на Любу, — все изобличало Лебедкина. А Люба ничего не замечала. Все уколы и уязвления Лебедкина не касались ее. С какою-то веселой

сосредоточенностью она за одним следила — за развитием лебедкинской мысли; одному жадно внимала — тем фактам, которые Лебедкин так искусно, так выразительно группировал; одним упивалась — теми выводами, которые вытекали из этих фактов... И вся озаренная какой-то детской улыбкою удовольствия, кивала своей грациозной головкой, когда эти выводы казались ей особенно удачными, особенно неотразимыми.

Но вскоре вмешалась в разговор и она...

Дело в том, что Инна Юрьевна, тщетно перебирая аргументы против Лебедкина, — аргументы и потому еще не имевшие успеха, что Лебедкин не слышал их, невежливо заглушая нежный голосок Инны Юрьевны своим громогласием, — выбрала, наконец, удачный момент и воскликнула:

— Вот вам аристократ: Сергей Львович Карамышев!.. Богач, камер-юнкер, дядя министр, а посмотрите на него: живет в деревне, строит больницы, основывает приюты, заводит школы!.. Ну-ка, укажите мне на ваших демократов... Что они выстроили? Что они основали? Где воздвигли школы и приюты?..

Отвечайте мне, молодой человек.

При упоминании Сергея Львовича с Лебедкиным сотворилось нечто странное. Злобно сощурился глаза и язвительно искривил губы свои, он, позабыв всякие приличия, вскочил со стула и комически расшаркался перед Инной Юрьевной.

— О, что касается господина Карамышева, я умолкаю, сударыня! иронически воскликнул он. — Я благоговею перед сим воплощением всяческих приличий... Я умолкаю... Я тем более умолкаю, что чувствую, чем движетесь вы, восхваляя господина Карамышева... Я уважаю родственные чувства, Инна Юрьевна!

И сел, тяжело переводя дыхание.

Но Инна Юрьевна на этот раз не осталась в долгу.

— Да? — протянула она, с пренебрежением окидывая взглядом Лебедкина, начиная с косматой головы его и кончая ногами в высоких сапогах. — Вы слышали, конечно... Я очень счастлива, но не потому «восхваляю» Сергея Львовича... А вы правы: он очень приличен, и несомненно принадлежит к порядочному об-

ществу... Но что делать! ему дали воспитание.... — И она вздохнула сострадательно.

Лебедкин как нельзя более почувствовал жало... Весь бледный и с хрипотой в голосе, он уже было начал: «Конечно, я не имею чести принадлежать к приличным людям»... И творец знает, чем бы все это кончилось, как вдруг, к общему удивлению, пылко и горячо заступилась за него Люба.

— Ах, мама, не говори о Карамышеве! — начала она, нервно хмурия свои тонкие брови и выпрямляясь в своем кресле. — Он очень образованный, очень богатый и даже, может быть, очень хороший человек, но уж совсем, совсем не общественный человек!.. Милая мама, — он ведь страшный эгоист... Разве он что-нибудь ставит выше своего-то спокойствия? Ах, не умею я тебе это объяснить, но он большой, о, большой эгоист!.. И все они такие... И ты не сердись, мама... Федя действительно очень кричит, но ты прости ему — он прав... Он ужасно, ужасно прав, мама... И знаешь, я сама всегда так думала... Ты сердишься?... Милая, милая мама, как мне жаль тебя!.. Но он прав, он прав....

И она в волнении подошла к матери и крепко, так крепко, что та вскрикнула, обняла ее. А с лицом Лебедкина состоялось преобразование. С первых слов Любы он выразил недоумение, потом улыбнулся широкой, радостной улыбкой и затем как-то внезапно утих и просветлел. Он даже подошел к Инне Юрьевне и с каким-то искреннейшим порывом попросил простить ему, «бесшабашному студенту», его «неприличное поведение». Инна Юрьевна с некоторой сухостью, но все-таки простила.

Кстати подоспел и обед. Надо отдать справедливость Лебедкину, аппетитом он обладал хорошим. И винегрету из дичи, и супу *a la reine*[6], и шпинату с яйцами, и цыплятам *a la tartare*[7] — всему сделал он подобающую честь. А уписывая все это, рассказал о том, чем кормят «их братию» в греческих кухмистерских да на чухонских хлебах в Петербурге... Люба почти не ела и либо с жалостью смотрела на Лебедкина, либо пододвигала ему вино, или салат, или иную принадлежность еды... По всей вероятности, ей представлялось, что он ужасно голоден. Лебедкин чув-

ствовал это и был признателен. Относился он теперь к Любе если не с грустью некоторой, то все-таки просто и мягко. Да и вообще отбросил всякую язвительность. Теперь в нем и узнать было нельзя того растрепанного оратора, который так еще недавно и с таким яростным пафосом громил аристократию и даже чуть было не поругался с хозяйкой дома... Лев спрятал свои когти и смиренно надел намордник.

Когда подали десерт, разговор уже принял совершенно спокойный характер и был именно таков, каким ему и следовало быть с самого приезда Лебедкина. Мы спрашивали, а Лебедкин рассказывал. Он рассказал нам про свои занятия, про своих профессоров, из которых одного молодого терапевта боготворил, припомнил два-три анекдота тоже про одного профессора, сурового анатома, посвятил нас в таинства студенческих отношений к обществу и к инспекции, затем рассказал, как в прошлом году провел он вакации в Симбирске в одном «аристократическом» семействе (упомянул это уже без всякой злобы...) и почему не мог писать оттуда (это на вопрос Любы).

На вопрос же Марка Николаевича, куда думает выйти доктором — в полк ли или в земство, ответил с маленьким вздохом, что и сам еще не знает, да и вообще иногда думает бросить академию и перейти в университет на юридический... Там привлекает его политическая экономия, философия права и особенно изучение бытовых форм, влиявших на это право... Теперь же все это приходится хватать урывками и часто без достаточной солидности. Затем добавил, что и эти знания, разумеется, нужны ему не сами по себе, а как средство, как возможность проникнуть в суть социальных отношений и угадать, наконец, где истинный путь к спасению народа... Люба при этом долго и внимательно посмотрела на него, но сказать ничего не сказала. Марк же Николаевич глубокомысленно произнес: «А-а?..» и важно нахмурил брови.

После десерта Лебедкин и Марк Николаевич с Любой ушли в сад, мы же с Инной Юрьевной остались на балконе.

— Ах, как меня фрапирует всегда этот... господин студент, — произнесла она, кокетливо указывая мне место около своего

пате, — вы знаете, я большая либералка, — но бог мой, — ведь это же ужасно!.. Все должно иметь границы, не правда ли?.. Но здесь нет их... И представьте себе контраст: Сергей Львович и... господин Лебедин... Один — приличный, изящный, благовоспитанный, и этот... miserable!.. О, порода, милый Николай Васильевич, очень, очень значит! — и, вероятно вспомнив, что и я не блистаю породой, быстро подхватила: — конечно, развитие, воспитание, — это много... Но согласитесь, не все же так счастливы... (Она улыбнулась очаровательно.) И в общем я права... Вы знаете... мать его поповна и вышла за подьячего какого-то... Впрочем, сами вообразите — какой-то Лебедин!.. Ах, я, конечно, не допустила бы в свой дом этого оригинального молодого человека, но видите, тут особые обстоятельства... — и наклонившись ко мне, лукаво прошептала: мамаша — старая пассия Марка Николаевича... Ну, и вы понимаете — я не могла... Тем более с Любой он вместе учился, вместе брали уроки... Все на наш счет, разумеется... Но надо отдать справедливость, он очень помогал ей... Знаете, принцип этот педагогический —

со-рев-нование — так, кажется?.. Но он очень, очень меня фрапирует!

Вечером, когда зажгли огни, все мы собрались в зале около рояля. Люба не была музыкантшей, но играла очень мило и с душой. Инна Юрьевна пробыла недолго в нашем обществе. Прослушав в мечтательной позе вальс из «Фауста» да полонез Шопена, она глубоко-глубоко вздохнула и удалилась. По ее словам, она и устала ужасно, и хотелось ей на сон грядущий прочитать «прелюбопытную статью» в английском «Атенее»^{36}... А музыкальный вечер продолжался и после нее. У Лебедкина оказался недурной баритон. Сначала пропел он под аккомпанемент Любы «О поле, поле», а потом, сев на ее место и довольно неуклюже обращаясь с клавиатурой, скорее проговорил каким-то трагическим речитативом, нежели пропел: «Есть на Волге утес»... Для Любы пьеса эта была новостью, и прослушала она ее с глубоким вниманием, а прослушав, только и сказала, что она помнит ее, что это было в журнале, но что она не подозревала за ней такой трагической силы... В ответ на это Лебедкин объявил, что есть пье-

сы, обладающие и еще большим трагизмом, и тут же пропел некоторые из этих пьес. Люба, выслушав пение, печально поникла головкой и как бы застыла в грустном раздумье, но затем, гордо выпрямивши тонкий и гибкий стан свой, подошла к роялю и смело и быстро взяла торжественный аккорд.

Вперед, без страха и сомненья!..

произнесла она своим нервным и странно звенящим при напряжении голосом и, ласково оборачиваясь к Лебедкину, сказала: «Не правда ли?» Лебедкин ответил ей светлой улыбкой и даже с пафосом воскликнул:

Смелей! Дадим друг другу руки...^{37}

но как будто вспомнив что-то, внезапно сделался мрачен и замолк.

Марк Николаевич преспокойно спал в своем кресле, сладко посвистывая и похрапывая. Около полуночи ушел и я в свою комнату. А молодые люди, оставив в зале спящего Марка Николаевича и горящие свечи на рояле, ушли в сад, над которым висела белая теплая ночь.

Эта ночь не походила на вчерашнюю, но

она была хороша... Небо теперь не было ясно, и деревья не давали резкой тени. Свет луны, проникая сквозь тонкие белые облака, ровным пологом покрывавшие небосклон, озарял землю не фосфорическим голубым блеском, а мягким молочным сиянием. Какое-то нежное и едва уловимое трепетание теней в саду, какие-то смутные переливы света и слабое мерцание лоснящихся листьев на деревьях придавали всей окрестности вид тихий и мечтательный. Но в этой тишине и в этой мечтательности было что-то раздражающее... Веяние какой-то тоскливой и душевной страстности, казалось, тонкой, неуловимой отравой носилось в теплом, резко благоухающем воздухе...

И соловей был уже не один сегодня. Из куста сирени под моими окнами, из аллей акаций, из далекой купы берез, из леса за домом — отовсюду неслась соловьиная песня. Ночь была настоящая «соловьиная» ночь. Я слушал, обвеянный чарами этой ночи... Чуткий воздух переполнялся звуками, робкими и нежными, как будто замирающими в какой-то тоскливой истоме, как будто изнываю-

щими от мольбы и страсти... А когда эти печальные звуки таяли и задумчиво угасали в кратких и однообразных фиоритурах, смело раздавался мелодический посвист, и трель, звонкая как серебро, ясная и чистая, точно хрусталь, далеко разбежалась над окрестностью. Я слушал, и тихая грусть обнимала мое сердце...

...Послышался разговор. Я взглянул в окно: Люба выходила из глубины сада рука об руку с Лебедкиным.

— Милый ты мой, — в каком-то умилении говорила она, — так оттого-то ты хмурил свои страшные брови и бранился с татап... О, как я рада!.. Значит, ты любишь меня, значит, ты не считаешь меня барышней и пустой, пустой девчонкой?.. О мой дорогой, как я тебе благодарна... И ты только поэтому не говорил мне «ты», да?.. Скажи, скажи, мой хороший... Но ты теперь будешь со мной по-прежнему?.. Но ты ведь любишь свою Любу... Скажи же, ученый человек, филистер, бука...

— Но как же ты так вдруг отказала этому... кабальеро?.. Сумасбродная ты головка, с чего же у вас разлад-то пошел? — с радостным тре-

петом в голосе спрашивал Лебедкин.

— О, пошел у нас разлад давно еще, дорогой мой — месяц, два, но я все молчала, все я сомневалась, милый, все я думала, что я глупая-глупая девчонка, а он — папа непогрешимый... Ты знаешь, я ему очень, очень верила...

Лебедкин нетерпеливо пожал плечами.

— Бедный ты мой, ты сердисься... Да, я очень верила ему... Ты его не знаешь? О, он может нравиться! Ах, не хмурься, пожалуйста... Он красив, он гораздо красивей тебя, и он очень образованный!.. Повтори, повтори, что ты сказал? «Где вам, дуракам, чай пить»... Ах ты, бука, бука! Но тут вот этот Сахалин, вот эти нигилисты, и я все, все поняла... Ты знаешь, иногда темно-темно... и вдруг зарница осветит, и вдруг все до последней былиночки станет ясно... Так вот и со мной такое приключилось... Ах, милый Федя, мне, право, нравились его идеалы... И главное, представь себе, Колупаевы исчезнут!.. Ты говоришь: «Откуда он Колупаева вытянул?» О, он любит Щедрина... Он говорит, что Щедрин великолепен... но мне, представь, мне положительно не советует читать... «Он неприличен», гово-

рит... Но я ушла в сторону... Итак, Колупаевы исчезнут....

И они скрылись за поворотом аллеи. А когда, спустя четверть часа, снова показались под моими окнами, говорил уже Лебедкин.

— ...«Пока солнце взойдет — роса глаза выест», — ты бы ему так и ответила, паршивцу... Вон в Медведице две трети в безнадежных болезнях обретаются да девять десятых с сумой странствуют... А ребятишки в дифтерите да во всяческом гное дохнут... И это еще не беда, а то беда, — тупеют все, руки опускают, в креатинов превращаются... То беда, что население вырождается быстро и неотразимо... Ну-ка, принцип постепенности приложи-ка тут... Через десять лет и встретишь «поле, усеянное костями» да чертополох. А ведь Медведица не одна, у нас целые области подобны Медведице. Вот оно что. Это я об одной стороне их идеальчиков толкую, а другая-то и речей не стоит... О, благодетели, — «в народ» пустились!.. О, волки в овечьей шкуре!.. О, фарисеи!.. Нет, Люба, этим лендлордикам нашим мало одного презрения — для них нужна и ненависть... Ах вы, культурные люди!.. Ах вы носители

цивилизации!..

— Но, милый мой, что же делать, что же делать?!..

Я не разобрал ответа Лебедкина, ибо они опять скрылись в глубине сада и уж долго спустя появились у меня под окнами.

— ...Ты не знаешь, как тяжело мне иногда, как больно... — с тоскою говорила Люба. — Я всегда одна, всегда... Иногда дум так много, и так занует сердце, и так мучительно хочется плакать, а пойти не к кому, сказать некому... Матан, она — милая, но она — ты знаешь — отсталая она... Рара... О, дорогой мой, я иногда очень, очень плачу... Я читаю урывками... Читаю газеты... я «Miserables» читала и, знаешь, проболела даже... О, как горько и как хорошо!.. Но помнишь, с тобой мы читали, помнишь «Мещанское счастье», «Трудное время» и еще, еще? О, я все помню... Теперь уже нет у меня таких книг... Ах, хорошее было время!.. Знаешь, милый, отчего бы вечно, вечно не в детстве?.. Помнишь, этот чудак monsieur Raoul... Как он мучил нас своими противными глаголами и как смешил своим русским языком... О, как смешил!.. А этот математик

Чупков, длинный как шест и сухой, сухой... Скажи, ты не забыл извлечения кубических корней?.. — и грустно прибавила: — Я все забыла, все...

Голосок ее замер за деревьями. А когда снова достиг он до моего слуха, она спрашивала Лебедкина: все ли по-прежнему отрицает он Шекспира?

— Не Шекспиру черед теперь, — уклончиво отвечал Лебедкин, — другие задачи наши, Люба, другие надежды и стремления...

И он горячо стал развивать перед ней эти задачи, эти надежды и стремления свои... Они опустились на ту скамью, на которой вчера еще сидел с Любой Карамышев. Теперь Люба доверчиво припала к плечу Лебедкина и слушала, — слушала неотступно... А он в резких и сильных чертах обрисовал ей положение народа... Его малоземелье, его болезни, его голод и нищету, его экономическое рабство, которое наименовал более тяжким, нежели рабство крепостное, — все это вставляло перед девушкой наподобие исполинских духов тьмы, безнаказанно терзающих светлый гений народный. Гений же этот, по сло-

вам Лебедкина, был велик... «Богатую» народную поэзию — песни, былины, сказки; «великолепные» бытовые формы — общину, артель, «выть» («выть» — это грандиознейший задаток социалистического строя! — воскликнул он); «широкие» понятия о собственности и «здравые» аграрные идеалы («которые и не снились буржуазным экономистам»); «трезвое» мирозерцание и образный язык, меткие пословицы и «мудрое» обычное право, — ничего не забыл Лебедкин, определяя величие этого гения. И, по его словам, достаточно было снять с него оковы, как он воспрянул бы и посрамил мир... И когда Люба наивно заметила, отчего же не снять эти оковы, отчего не освободить этого несчастного великана с такими «грандиозными» задатками, — он вскочил с скамьи и, восторженно поднимая руку, произнес, что пришла, наконец, пора этого освобождения, пришло время великому народу стряхнуть с себя путы, и что на них, на интеллигенции, лежит святая задача помочь этому...

— Народ давно ждет нас, — патетически восклицал он, — он истомился... Его зов уже

начинает замирать от напрасных ожиданий... И не нам медлить... Мы бросим наши семьи, наших отцов и матерей и пойдем к нему, к великому страдальцу, в его ранах забыть свои раны, в его несчастиях схоронить свои...

Тогда Люба бросилась к Лебедкину и крепко, со слезами на глазах, обняла его. Он опустился в изнеможении... А она, вся трепещущая, вся дрожащая от неизъяснимого волнения, как будто колючим ознобом обнимавшего все ее молодое, гибкое тело, порывисто восклицала:

— Я пойду с тобой... О милый, не бросай меня здесь... Я жить хочу... Я хочу идти вместе с тобою, вместе со всеми вами... Я не могу терзаться и плакать бесплодно... О мой милый, не покидай меня!..

Он ничего не ответил. Он только в каком-то трогательном умилении поднял лицо свое к небу, — и особенно выразительны были юные, но уже строгие и резкие черты этого лица, — и затем горячо и быстро поцеловал Любу.

И долго сидели они в каком-то полузабы-

ТЪИ: ОН — задумчиво и медленно целуя ее руки, она — доверчиво склонившись к нему на грудь.

А соловей звенел над ними жалобно и страстно.

Примечания

Самоуправление (*англ.*).

[^^^]

Нищий, бедняк (*итал.*).

[^^^]

3

«Отверженные» (*франц.*) — роман В. Гюго.

[^^^]

До свидания (*франц.*).

[^^^]

«Марсельеза» (франц.).

[^^^]

По-королевски (*франц.*).

[^^^]

По-татарски (*франц.*).

[^^^]

Комментарии

«Герман и Доротея» (1797) — поэма Гете. Чтобы возвеличить тихую семейную жизнь немецкого бюргерства, Гете написал свою поэму в духе античных идиллий.

[^^^]

2

«Блажен, кто верует, — тепло тому на свете» — цитата из комедии Грибоедова «Горе от ума».

[^^^]

Джентри, (англ. gentry, от genteel — благородный) — английское среднепоместное обуржуазившееся дворянство, «новое дворянство», которое стало значительной общественной силой благодаря тому, что играло главную роль в органах местного самоуправления и в парламенте. Высшие слои джентри в союзе с крупной буржуазией в результате английской буржуазной революции XVII века овладели властью. Рассуждения Карамышева отражают настроения, типичные для русского либерального дворянства пореформенного времени, когда либеральная печать рекламировала «английское джентри», как средство борьбы против оскудения российского дворянского землевладения. Карамышев видит в образовании «джентри» один из путей защиты и гарантии дворянских сословных привилегий.

[^^^]

4

Колупаев — персонаж произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина «Убежище Монрепо» (1878–1879), нарождающийся русский буржуа. Имя Колупаева стало нарицательным для обозначения капиталистического хищника.

[^^^]

Кармелит — член католического монашеского ордена (происходит от названия горы Кармель, где была основана в XII веке первая монашеская община).

[^^^]

6

Бурбоны — французская королевская династия; занимала престол в Неаполе (1735–1806 и 1814–1860) и в Парме (1748–1797 и 1847–1860).

[^^^]

Медичисы (Медичи) — флорентийский род, правивший во Флоренции с 1434 по 1737 год (с перерывами); банкирский дом Медичи являлся в XV веке одним из крупнейших в Европе.

[^^^]

Поль Веронез (собственно Паоло Кальяри, прозванный Веронезе по месту рождения в Вероне; 1528–1588) — знаменитый художник венецианской школы.

[^^^]

Торвальдсен Бертель (Альберто) (1768–1844) — знаменитый датский скульптор, представитель классицизма XIX века.

[^^^]

Ватто Антуан (1684–1721) — выдающийся французский живописец и рисовальщик, с творчеством которого связан один из наиболее значительных этапов развития бытовой живописи во Франции XVIII века.

[^^^]

Грёз Жан Батист (1725–1805) — французский живописец. Расцвет творчества Греза относится к 50-м-началу 60-х годов XVIII века, когда им была создана серия больших сюжетных композиций, изображавших «сцены домашней жизни».

[^^^]

Давид Жак Луи (1784–1825) — выдающийся французский живописец времени буржуазной революции XVIII века, создатель стиля революционного классицизма в живописи.

[^^^]

Сикстинская мадонна — самое совершенное создание великого итальянского художника Рафаэля.

[^^^]

«...фетовская „Диана“». — Стихотворение А. А. Фета «Диана» из цикла «Антологические стихотворения».

[^^^]

«Мы одни; из сада в стекла окон...» — начало стихотворения Фета из цикла «Мелодии».

[^^^]

Майков Аполлон Николаевич (1821–1897), как и Фет, принадлежал к группе русских поэтов, выступавших с лозунгом «искусство для искусства». Хотя Майков и считал, что поэзия должна служить не «злободневным» интересам, а высоким, «вечным» ценностям, вместе с тем он выступал порою против «разрушительных» действий «нигилистов». Отношение Эртеля к поэзия Майкова и Фета определялось его демократическими взглядами и полным отрицанием теории «искусства для искусства». Следуя в своем творчестве традициям классиков русского реализма, Эртель считал, что «искусство для искусства, наука для науки, прогресс для прогресса ведет к гибели общества...» (Письма А. И. Эртеля, стр. 243). Очень важно для характеристики взглядов Карамышева, что он цитирует именно Фета и Майкова.

[^^^]

«...В туманах замки, песен звуки...» и т. д. — заключительные строки из стихотворения А. Н. Майкова «Гейне» (пролог), которым открывается раздел «Переводов и вариаций» из Гейне А. Н. Майкова. В споре Карамышева с Любой по поводу Гейне раскрывается противоположное отношение к творчеству великого немецкого поэта разных лагерей. Переводы из Гейне Фета и Майкова создавали одностороннее представление о творчестве крупнейшего представителя революционно-демократической литературы Германии. Реакционный лагерь пытался исказить Гейне, охарактеризовать его как сентиментального лирика, затушевать революционную направленность его творчества. Карамышев у Эртеля пытается пропагандировать взгляд на Гейне, типичный для реакционных кругов.

[^^^]

«Отчего под ношей крестной» и т. д. — вторая и часть третьей строф стихотворения Гейне «Брось свои иносказанья» («Laß die heiligen Parabeln») в переводе М. Л. Михайлова, русского революционного деятеля, писателя и переводчика, принадлежавшего к лагерю революционных демократов, возглавлявшемуся Н. Г. Чернышевским. Из зарубежных поэтов Гейне был самым любимым поэтом Михайлова: он перевел более 140 стихотворений Гейне, и переводил в первую очередь произведения поэта, обличающие социальную несправедливость, отмеченные резкой критикой буржуазного общества.

Перевод Михайлова стихотворения Гейне «Брось свои иносказанья» печатался в искаженном цензурой виде. Эртель цитирует это стихотворение Гейне по изданию Гербеля 1862 года, где строки 9 и 10 были напечатаны так:

*Кто виной? Иль силе правды
На земле не все доступно?..*

В советских изданиях М. Михайлова эти строки восстановлены в его подлинном переводе:

*Кто виной? иль воле бога
На земле не все доступно?..*

[^^^]

«Дитя, как цветок ты прекрасна» и т. д. — строки из стихотворения Гейне «Du bist wie eine Blume» в переводе А. Н. Плещеева.

[^^^]

«*Прекрасная Елена*» (1864) — оперетта Жака Оффенбаха (1819–1880), пародия на древнегреческие сказания о славившейся своей красотой Елене, жене царя Менелая.

[^^^]

Фрейлиграт Фердинанд (1810–1876) — выдающийся немецкий поэт. В 40-х годах был дружен с К. Марксом, в 1848 году стал членом Союза Коммунистов. В те же годы им были созданы лучшие его стихи, в сборнике «га іга» (1846) он призывал к революции.

[^^^]

*«Я знаю, гордая, ты любишь самовла-
стье...»* — Этой строкой начинается стихотво-
рение Фета, печатавшееся под заглавием
«Б...й», с датой 1847, июль. Стихотворение по-
священо елисаветградской помещице В. А.
Безродной.

[^^^]

Фаланстером у великого утопического социалиста Фурье называлось центральное здание, дворец «фаланги», социалистической артельной общины, основной ячейки будущего общественного устройства.

[^^^]

«Шаг за шагом» — роман Оммулевского (псевдоним Иннокентия Васильевича Федорова, 1837–1883). Его творчество развивалось под воздействием взглядов революционных демократов. Роман «Шаг за шагом» (1870) был издан с большими цензурными купюрами.

[^^^]

«Трудное время» (1865) — повесть русского писателя-демократа — Слепцова Василия Алексеевича (1836–1878). В своей повести Слепцов нарисовал политически острую картину борьбы между помещиками и крестьянами в пореформенный период.

[^^^]

«Русский архив» — ежемесячный исторический журнал (1863–1917). Основателем и редактором-издателем его (до конца 1912 года) был либеральный историк П. И. Бартенев. В журнале публиковались исторические источники — преимущественно XVIII–XIX веков.

[^^^]

«...замыслы верховников при Анне Ивановне...» — Анна Иоанновна, русская императрица (1730–1740), была приглашена на русский престол Верховным тайным советом, который поставил ей ряд условий — «кондиций», смысл которых заключался в ограничении самодержавия в пользу феодальной знати, олигархической верхушки, так называемых «верховников».

[^^^]

Борджиа — испанский дворянский род, который в XV веке переселился в Италию. Родриго Борджа, ставший папой под именем Александра VI, «прославился» главным образом своим чудовищным развратом. Борджа для достижения своих целей использовали в борьбе все средства, вплоть до предательств, убийств.

[^^^]

Война Алой и Белой Розы (1455–1485) — кровавая феодальная борьба за английский престол между двумя линиями королевской династии Плантагенетов — Ланкастерской (в гербе — алая роза) и Йоркской (в гербе — белая роза).

[^^^]

Людовик XIV — французский король (1643–1715), который своей политикой и немислимым расточительством довел Францию до глубокого экономического упадка.

[^^^]

Карл Десятый — французский король (1824–1830). В эпоху французской революции 1789–1793 годов возглавлял эмиграцию в ее борьбе с революцией. Вступив на престол в 1824 году, был под влиянием духовенства и реакционных элементов дворянства. Его ордонансы, отменившие избирательный закон и уничтожившие свободу печати, явились ближайшим поводом к революции 1830 года.

[^^^]

Карл Второй — английский король (1660–1685), сын Карла I. С воцарением в 1660 году на английском престоле Карла II в Англии была восстановлена королевская династия Стюартов. Карл II проводил политику феодальной реакции.

[^^^]

«...и дураке Якове...» — Яков II, английский король (1685–1688), преемник Карла II.

[^^^]

«...ультиматум-то тысяча семьсот тридцатого года...» — Имеются в виду «кондиции» «верховников» царице Анне Иоанновне.

[^^^]

Филиппики — в переносном значении гневная обличительная речь; название политических речей древнегреческого оратора Демосфена, направленных против Филиппа II Македонского.

[^^^]

«Атеней» — английский журнал литературы и критики, основанный Бэкингом и издававшийся в Лондоне с 1828 года. В журнале оценивались сочинения по литературе, философии, богословию и искусству. Помещались и статьи о России.

[^^^]

«Вперед, без страха и сомненья!.. Смелей! Дадим друг другу руки.» — строки из стихотворения поэта А. Н. Плещеева (1825–1893). Плещеев, в молодости арестованный и сосланный по делу петрашевцев, в большинстве своих стихотворений, особенно раннего периода, проявил себя как выразитель стремлений прогрессивно настроенных демократических кругов. Плещеев, очень любивший молодежь, пользовался взаимной любовью передового студенчества. Его стихи, проникнутые гуманизмом, верой в светлое будущее, стихи, в которых звучали мотивы глубокого сочувствия угнетенным массам, ненависти к крепостничеству, были широко известны в среде демократической молодежи. Особенной популярностью пользовалось его стихотворение *«Вперед, без страха и сомненья!»* (1846), которое стало любимой революционной песней и последующих поколений.